

Вячеслав
Улыбин

И лжи заржавеет печать...

Двойные
звезды
Ольги
Бергольц



**Вячеслав
Улыбин**

И лжи заржавеет печать...

Двойные
звезды
Ольги
Берггольц

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2010

УДК 82-94

ББК 83.3(2Рос=Рус)

У50

*Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России»*

Улыбин В.

У50 И лжи заржавеет печать... Двойные звезды Ольги Бергольц / Вячеслав Улыбин. — СПб.: Алетейя, 2010. — 208 с. — (Серия «Русский міръ»).

ISBN 978-5-91419-352-9

Ольга Федоровна Бергольц (1910–1975) выдающаяся русская советская поэтесса впервые рассказывает о себе «на вольном и жестоком» языке того времени, хроники которого она запечатлела по дням в своем дневнике.

Адресовано широкому кругу читателей.

*Автор и издательство благодарят петербуржцев
Николая Клочкова и Ольгу Котову
за содействие в издании книги.*

ISBN 978-5-91419-352-9



9 785914 193529

© Вячеслав Улыбин, 2010

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2010

© «Алетейя. Историческая книга», 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

Маленькая девочка с золотыми косичками искала в деревенских колодцах дневные звезды — и не нашла их. Невероятно, но от этого вера девочки в существование дневных звезд не поколебалась.

Девочку звали Оля Берггольц.

Мы попытались найти невидимые тогда, ночные звезды в ее жизни, ибо свои дневные созвездия — в виде опубликованных творений — она давно явила людям. И, кажется, нам удалось их найти, посчастливилось открыть ту самую Главную Книгу, которую Берггольц писала всю жизнь. Имя этой книги — ее дневник, безжалостное свидетельство времени, обелиск, превозмогший литературный пепел ее эпохи — трагической и прекрасной, подлой и возвышенной одновременно. Пепел этот тяжко сдавливал грудь поэтессы — но так и не смог прервать ее дыхания.

В предлагаемой книге читатель найдет не только дневниковые записи, но также и отрывки из писем, записок, документов самой Берггольц — иными словами, услышит ее язык, «вольный и жестокий», почует тепло ее посланий для нас, потомков, ибо пророчески сбылись ее слова о наших временах тотального оскудения любви, когда мы, озябшие и замерзшие, сможем согреться у ленинградского блокадного костра, отблески которого через десятилетия донесла до нас она — хрупкая женщина с золотыми волосами. И тогда ее двойные звезды — ночные и дневные — расскажут нам новую повесть о ней и о нас.

*Молчание душу измучит мне,
и лжи заржавеет печать...*

Ольга Берггольц, 1952 год

ПРОЛОГ

3 мая 1910 года в гинекологическом отделении Петербургской Императорской Военно-Медицинской Академии в семье академического студента Федора Христофоровича Берггольца и молодой мещанки Марии Тимофеевны (урожденной Грустилиной) родился первенец – дочь Ольга.

У молодой матери после родов началась родильная горячка, но строгая свекровь отказалась принять в дом ребенка, зачатого «во грехе» (Ольга родилась менее чем через полгода после свадьбы). Девочку отдали в приют, где она заболела и стала быстро угасать. Только припадок «падучей», искусно разыгранный Федором перед матерью (он еще и не такое видел во время учебы), заставил Ольгу Михайловну изменить свое решение, после чего мать с дочерью были на извозчике доставлены домой, а к внучке была нанята деревенская кормилица.

Будучи в приюте, Ольга (по всей видимости, из-за боязни скорой смерти) была окрещена в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Восприемниками были: личный почетный гражданин Петербурга Христиан Федорович Берггольц и вдова мещанина г. Рязани Мария Ивановна Грустилина.

Крестил Ольгу протоиерей Василий Сперанский с диаконом Аркадием Георгиевским 7 мая 1910 года.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПОЭТессА

Каменный Ангел

Ее письмо к матери от 1 октября 1922 года написано на ведомости Городской кладовой Общества Александро-Невской Мануфактуры К.Я. Паль.

«Дорогая мамочка! Целую и обнимаю тебя горячо и крепко и много-много раз. Шлю мое сердечное приветствие Коле, Анюте, тетям Дуне и Насте и бабушке. Сейчас я тебе опишу все, моя радость, но буду кратка, потому что мало места, а новостей много. Ну, вот: вопреки пророчествам папы доехали мы великолепно и холодно не было никаких. Ехали мы в отдельном купэ, на мягких диванах. Нас папа посадил на верх и мы там устроились еще лучше, чем дома: и мягко и тепло. Сначала там были еще 2 вполне приличных господина, но они скоро ушли. Папа так крепко спал, что если бы не я, то мы слезли бы не на Фарфоровском посте, а в городе. Я закричала так громко (я всю ночь не спала), что папа как встрепанный вскочил и начал стаскивать нас... Приехали мы в 8 ч. утра. Крестный тотчас же поставил самовар, ну и т.д. Папа в школу нас не хотелпускать, потому что хотел, чтобы я ему к часу переписала всю «Звездочку». Но кока и бабушка настояли на нашем отправлении в школу и мы пошли. Пропустили мы совсем немного, и меня вчера вызывали по алгебре и я без запинки отвечала и нашла совершенно верно дробный корень. А по физике я перед всем классом объясняла устройство ватерпаса. Муся тоже немножко пропустила и уже догнала всех. Все здоровы, баба-кока тоже поправилась и хозяйничает; она острижена. Таня, Люся здоровы, а Таня гукотит во всю. Да, мамочка! Должна тебе сказать, что в пятницу на субботу папа дома не был, а был на имянинах у Пименова. Там так изрядно выпили, что папа шатался и не стоял на ногах, и его отец моей классной подруги, Алексеев (он тоже был на имянинах), привел к себе (он живет около Пименова) и уложил, а сам растянулся на полу. Папа выспался только к 3 ч. дня и на

службу не ходил. Это все мне передала Алексеева, и я, конечно, попросила ее не говорить никому, что она обещала сделать. Когда я рассказала об этом бабушке и Дуне, то они начали утешать меня довольно оригинально, вроде того, как: «Если ваша мать хорошая жена, то она в деревне не останется, а сюда приедет, а то будет две жены, как у доктора Фатянова, — тогда наплачешься. Недолго до этого ждать осталось». А Дуня жалела, что не поймала какую-то девчонку, которая якобы приносила к папе записки, и уносила от него то же, — «уж тогда бы она все от нее (девчонки) вывела!» А когда я говорила, что приехать тебе невозможно, то бабушка говорила, что: «а если отец с другой сведется, тогда мать скорей умрет — и отца и мать потеряете!» Мне было так тяжело! Я с нетерпением ждала папу и когда он пришел, бросилась к нему покрепче, а в душе закричала: «Я не пущу тебя ни к кому, папочка, ты наш, ты должен остаться с нами!»... Этот день он был очень ласков с нами, ласкал нас и ничего не сказал, когда увидел, что я пишу, т.е. переписываю «Звездочку» у Грустилиных. Вчера же мы провели чудный вечер: я читала свою «Звездочку» коке, бабушке, Дуне, они слушались, смеялись, трогались, потом мы пели с Мусей частушки — бабушка и все были такие веселые и добрые, что вчерашний вечер казался мне сном и я хотела бы все время видеть этот сон, но увы, уже сегодня вечером этот сон прошел: мы получили «дьяволовок» от Дуни за то, что не дали причесать ей себя, а когда папа пришел откуда-то, то бабушка и Дуня с жалобой налетели на него и говорили, что: «пить и есть они тут будут, а работать внизу? тогда пусть уж и живут внизу, а то они нас и кормят и обстирывают, а мы внизу ребят качаем!» (Наша «работа» состояла в том, что мы укачивали Таньку! Папа не велел нам без позволения ходить туда, а лучше бы, если б мы туда как можно реже ходили.)

Но ты не расстраивайся, дорогая мамочка! Зря я все это тебе написала! не буду больше этого писать. Но мне так скучно, а поделиться не с кем!... Встреча моя с Д.В. была очень радостная; он меня спросил, почему я ему не писала писем — он их так ждал! А я и не знала, мамуся, что ему были бы приятны мои письма! Д.В.

скоро принесет мои работы, что-то он скажет про них. Мы стараемся встать на хорошие места в школе и потому стараемся. Дуня на будущей неделе поедет в Гужово — ты не приезжай ни в каком случае, а то все твоё лечение пропадёт, — мы управимся одни. Целую тебя еще много раз во все, что можно целовать и крепко обнимаю. Храни тебя Святая дева и все ее ангелы. Вечно твоя дочь Ляля Бергольц.

Все тебе кланяются».

Уже из этого письма виден вкус к языку маленькой Ляли. То же своеобразие языка, его наивность и сочность, мы видим и в ее первоначальных литературных опытах.

В «Автобиографии», спустя 30 лет, Бергольц писала:

«Стихи я запоминала с трех лет — огромные. Читать и писать научилась очень рано. «Сочинять стихи» — тоже чуть ли не с 6 лет. Первое «стихотворение» было написано так: в старенькой хрестоматии прочла я отрывок — «Вот ветер, тучи нагоняя, дохнул, зашумел, и вот сама идет волшебница зима» и т. д. До сих пор помню, как я замерла от непонятного мне самой изумления и счастья, — помню, а передать это и сейчас не могу. Я крупными печатными буквами, не отделяя слова от слова, переписала пушкинские стихи, засунула хрестоматию под оттоманку, побежала к бабушке и, дрожа от радости, сообщила: «Бабушка, послушай, какие я стихи сама сочинила!» Бабка не поверила, но сделала вид, что верит. Но главной моей любовью были с ранних лет стихи Лермонтова — «Ночевала тучка золотая», «Сосна», «Дубовый листок», «Русалка» — стихи, пронзающие своей таинственной, почти непонятной грустью. Было страшно жалко и утес, и сосну, и дубовый листок, и все казалось, что это — ты.

Мать восторженно поддерживала во мне желание быть поэтессой. Она сама имела ниже среднее образование, ее идеалом были «тургеневские девушки», она мечтала «вращаться среди артистов и писателей». Каждый мой стишок она ужасно расхваливала. Вообще с малых лет, и в школе — родные, знакомые, учителя — много и неумеренно хвалили меня, восхищаясь

моей памятью, «талантом» и т. д., развивая тем самым не только честолюбие, но и тщеславие. И я долгое время была тщеславной девчонкой, «выскочкой», пока жизненные невзгоды (начавшиеся, кстати, очень рано), не выбили из меня этого, если не до конца, то — лишь себя надеждой — до нормы. Нормальный же человек обязательно честолюбив».

До нас не дошли самые ранние стихи, сочиненные ею в 6-летнем возрасте; первый дошедший до нас стихотворный альбом, посвященный маме, подписан 6-ым ноября 1920 года. Этот альбом десятилетней девочки включает стихотворения: «Мать», «К родным», Утро», «Лев в неволе», «Умирают покорно цветы» (это из Надсона), «В гостях и дома», «Сон Маруси» (имя зачеркнуто), «Наш вечер», «Бедная мама», «Наша мама». Стихи пронизаны детской светлой естественной радостью.

Более поздние детские стихи Берггольц собраны в амбарной книге предположительно 1908 года. Всего в тетради 70 листов. Указан домашний адрес юной поэтессы: Невская застава, Палевский пр., д. 6 / 2 кв. 5.

Проставлена дата — 6.06 — 24

В тетради содержатся следующие произведения:

1. рассказ «Голубой цветочек» об Иване и Марте, которую, после смерти мужа, фея из голубого цветка наградила «прелестным мальчиком с золотыми кудрями».
2. стихотворение «Бесталанная» («О, музы, музы») — 1923 г.
3. стихотворение «Всегда тиха и молчалива» с посвящением («моей мамочке») — 1921 г.
4. стихотворение «Как одинокая гробница / живу печальной стороной...» — 1923 г.
5. поэма «Лилия» примерно в 165 строф (с посвящением сестре Мусе) — 1922 г., 18 февраля.
6. поэма (сказка) «В вечеру не сидит она...» — около 785 строк.
7. «Тяжкий труд» (проза).
8. Частушки.

- 9.** Отрывок «Вечная жизнь» (прозаическое повествование от имени юноши).
- 10.** стихотворение «Думы» («Белая ночь мне в окошко глядит»).
- 11.** стихотворение «Слезы зори» («Уже проходит ночь и звездочки толпою...») – 19/11 – IV – 22 г., ок. 74 строк.
- 12.** стихотворение «Расцвела в саду черемуха...» (посв. П.Л.), 15/– VIII – 23 г., дер. Плавице.
- 13.** стихотворение «Ты дремлешь, старый сад...» (отрывок) – 22 г.
- 14.** сцена-монолог «Каменный ангел» вместе с посвящением («Как тяжело и как гнетет...»).
- 15.** стихотворение «Песнь соловья» («Страстно-могучая...») – 2 – IV – 22 г.
- 16.** стихотворение «Матери» («Почему ты одна...») – 13 – X – 22 г.
- 17.** рассказ «Царевна-Снежинка» – 6 – XI – 192 [1].
- 18.** прозаическая легенда «Голубые сказки» – о том, как жители одной страны не приняли Христа в образе дряхлого нищего старика, за что и были наказаны. После извержения вулкана утоплены в море, на месте страны образовалась группа островов в Эгейском море под названием Архипелаг.
- 19.** стихотворение «Лев в неволе» («Тихо звездная ночь над пустыней молчит...»).
- 20.** «Роландова башня», сказка, повествует о трагической любви бретонского рыцаря Георга и лесной девы Роланды. Георг накануне свадьбы ушел в поход, где был убит. Получив известие о его смерти, Роланда бросилась с башни и разбилась насмерть.
- 21.** стихотворение «Орел» («Сидел на утесе орел молодой...»).
- 22.** «Кролики», начало детского рассказа.
- 23.** поэма «Царевна-звездочка» («В подмосковном-от боярстве...»)
- 24.** Частушки.
- 25.** «Мать и Дочь», аллегорическая сказка о том, как Весну поссорили с Матерью-Природой, к счастью, не окончательно.

26. «Христос Воскресе, люди, братья!» (не окончено).
27. «Звезда и женщина» («Проснулася зоренька ясная...»).
28. Соловьиные сказки – о соловье и поэте, способном его слышать.

- а) «Весенняя сказка» – о пробуждении весны.
б) «Роза и соловей» (поэма). О том, как розу, над которой пел соловей, сорвали, а птицу посадили в клетку. Соловей вырвался из клетки и «прильнув к её сердцевине, испустил дух». Утром «кокетка» (сорвавшая розу) нашла двух влюбленных мертвыми:

«...соловку, что пел так прекрасно,
И розу, что пышно цвела...»

- Заканчивается печальной моралью: «Прекрасное не живет!»
29. IV акт (отрывок) ненаписанной драмы с героем Виктором («Устал, устал! Все шел я по дороге...»).

30. «Из дневника канцеляриста» – Петроград 1921 г. («Я сегодня прошел по лугу пестрорядному...»)

31. Назидательная гимназическая пьеса «Зло и Расскаяние» – 1921 г. с такими колоритными персонажами томно-расслабленного Серебряного Века, как Жорж и Лева (помогала сочинять Муся).

32. Поэма «Кто он?» – о счастливом поэте, который так говорит о себе:

Я русалок могу вызывать
Из глубоких, опасных морей,
В стариков и старух превращать
Молодых и веселых детей.
Беднякам могу счастье дарить
И с престолов царей низвергать,
Могу город затопить,
Океаны могу осушать.
Я заставлю смеяться детей,

И ребятки хохочут, смеются;
Захочу – и по воле моей
Их горючие слезы прольются.
Захочу – и наступит весна,
Птицы песни свои запоют;
И всю жизнь продлится она,
И морозы, зима не придут.
В разных странах могу я летать,
Бури слушаться будут меня;
Захочу – никому не видать
Будет теплого, ясного дня....
Даже вас, золотые лучи,
Меня к солнцу заставлю поднять,
И вы будете слуги мои,
Все желанья мои исполнять.
Я велик, бесподобен, могуч,
Только мне в мире равного нет!!!
«Кто же ты?» – спросил солнечный луч,
Он ответил тогда: «Я поэт!»

33. «Фея и луч» («Был месяц май / В лесу глухом)... – 1921 г.,
ок. 70 строк. Петроград.

Далее в тетради запись:

Стихотворения за 1918, 1919, 1920 и 1921 годы.

34. «Вошь на базаре». Поэма, начата в Угличе 11 апр. 1921 г.,
окончена в Петрограде в 1921 г. («Доктор медик В. Степанов») –
более 200 строк.

35. две стихотворные новеллы о врачах, посещающих пациентов, без названия («Лишь настал жестокий голод...» и «Раз врача к себе в деревню...»).

36. «В гостях и дома» (Не ложилась дева дома...) – Углич,
1920 г.

37. «Утро» («Сирень цвела, жасмины расцветали») –
1919 г.

38. стихотворение «Умирают покорно цветы...» («И розы мои отцвели /Они распрошались со мною!!!») – Углич, 1919 г.

39. стихотворение «К родным» («Весело сияет...») – Углич, 1920 г.

40. стихотворение «Сон Маруси» («Как только Маруся в кроватке уснет...») – Углич 1921 г. – о просьбе малютке к Спасителю исцелить мать:

Услышал Спаситель малютки слова
И он наклонился над нею:
– Я дам твоей маме здоровье опять
И долго жить будешь ты с нею.

41. стихотворение «Мышиный институт» («В подполье мышки все живут...») – Углич 1921 г., не окончено, написано вместе с Мусей.

42. стихотворение «Молитва» («Лампада горит пред иконой святой...») – Петроград 1921 г. – о молитве жены о смертельно раненом муже:

«Спаси его, Боже, спаси и помилуй!» –
Шептала с тоскою она.
«Пусть он не умрет,
Не погибнет мой милый», -
И встала надеждой полна.

43. стихотворение «Ночь свернула в клубок покрывало свое» (отрывок) – предвосхищает позднюю пейзажную лирику Бергольца.

44. стихотворение «Христос Воскрес! Христос Воскресе!» [Углич].

45. стихотворение [Мать] («Два имени святых... Отец и мать».)

46. стихотворение с посвящением Г. Л. («Расцвела в саду че-ремуха...»)

В нем есть такие строки:

Ты пришла, весна-чаровница,
Для погибели моей.

Финальные строки:

А мне жить так страстно хочется,
Божий свет так чудно мил,
Смерть подходит беспощадная
И бороться нету сил.

О чем говорят эти стихотворные опыты?

Во-первых, о рано проявившейся одаренности Бергольц. Во-вторых, о широкой палитре этой одаренности. В-третьих, о влияниях на ее сочинения. Это и Чарская, и Чириков (ныне благополучно забытые), и Надсон, и Демьян Бедный, Лермонтов, конечно... позднее к этому списку будут добавлены пролетарские поэты своего времени во главе с незабвенным Маяковским. Но об этом мы поговорим позже.

Одним из самых ярких детских сочинений Оли Бергольц является «Каменный Ангел».

«Каменный Ангел» (сцена-монолог написана 21.4.1923 г.), состоит из 90 строф. На монолог тринадцатилетнюю Олю вдохновил кладбищенский каменный ангел у Александро-Невской Лавры, само олицетворение грусти. Стихотворение, навеянное лермонтовским Демоном, представляет плач падшего ангела:

Как тяжело! И как гнетет
Меня бессилье, бездвиженье...
А небо манит и зовет...
О Бог! За что сии мученья?
Ах, Небо, чистое, святое,

То как лазурь, то грозовое
Не для меня! И дверь в Эдем
Закрыта для меня совсем.
И я один, среди людей...

Будучи «посланником покоя после захода солнца», от которого «все засыпало», ангел так повествует о своем падении:

.....Однажды вечер догорал,
Заря погасла за горою,
И этой чудною порою,
Простясь с замолкнувшей землею,
Я тихо в небо улетал.
Навстречу звезды мне сияли,
И стал я песню напевать.
Вдруг...что-то крылья мне сковало...
Я начал долу упадать...
Мне было тяжко!
Грудь сковало
Какой-то силой, как в тисках,
И в опустившихся крылах
Ни капли силы не осталось...
Я ниже, ниже упадал,
И страшный холод мне сковал
Все члены. Взгляд послав прощальный
С небесной выси я упал...

Но почему он пал?
Ангел так объясняет это:

Ваятель с пламенем всесильным
Таланта в сердце – создавал
Статую ангела той ночью,
Забыв весь мир, с самозабвением

Творил с такой великой мощью,
И так был силен вдохновеньем,
Что тем меня он победил
И в ту статую воплотил...

И что дальше?

И вот немым, холодным стражем
Я был поставлен у гробницы;
Прошли лета, столетья даже
В прозрачной пестрой веренице;
Менялись нравы, время, лица,
Все в вечность кануло глубоко...
Лишь я у каменной гробницы
Стою, как прежде, одинокий...
Я вижу горе и страданья,
Я вижу, как могилы роют...
Я слышу горькие рыданья
И их не в силах успокоить!..

...Перед тем, как застыть, Ангел произносит:

Приходит снова...
день страданья...

17 лет спустя, в 1940-м году, прошедшая через горнила тяжких испытаний, умудренная печальным жизненным опытом, Бергольц опять вернется в образу Каменного Ангела – на этот раз в виде стихотворного комментария к Врубелевскому поверженному демону:

И чем темнее бронзовые перья,
Тем ярче свет невидимой зари
Как знак Мечты, возмездья и Доверья
Над взором несмирившимся горит...

Можно ли всерьез говорить о демоничности некоторых стихотворений Берггольц? Вряд ли. Мистицизм был чужд ей (хотя некоторые зерна такового в ней были). В контексте советской эпохи демон Брубеля (да и Лермонтова — так сложилось еще до Октября 17-го) читался русской интеллигенцией как революционный протест против самодержавного гнета. Такое же значение вложила Берггольц и в выше цитированное стихотворение «Не может быть, чтоб жили мы напрасно!»

Еще один любопытный штрих 1910-го года: в год рождения Берггольц Ахматова только начинала свой путь в поэзии, а Цветаева опубликовала первый сборник стихов. Эти два имени играли в поэтической биографии Берггольц немаловажную роль: сначала они были ее учительницами, затем соперницами, потом их она стала воспринимать равной себе. Об этом более подробно мы скажем ниже.

И последнее: в каком направлении развился бы талант Берггольц, родись она в другое время? Мы этого точно не знаем. Одно можем сказать с определенностью: она в любое время оставила бы яркий след в истории русской литературы. Но какой — вот вопрос. Родись Берггольц раньше, лет на 30, и мы имели бы значительную поэтессу Серебряного Века, воспевающую уныние и разрушение. Родись она лет на 50 раньше — мы получили бы стойкого поэта некрасовского круга, обличавшего социальную несправедливость самодержавного строя. Но она родилась в 1910 году, а выросла при последних закатных отблесках Серебряного Века. Наступал воинственный бронзовый век русской поэзии. И вскоре девичья лира, отзовется на его жестокие песни. А пока 14-летняя Ляля Берггольц внимает песням Белой ночи:

Я дева белой молочной ночи,
Меня творили Невы напевы,
Гляди смелее, гляди мне в очи,
Ведь я, — не бойся, ночная дева...
Ночная дева, ночная сказка...

Я вся туманна, вся — трепетанье...
Нет, белой ночью не надо ласок,
Боюсь я страсти... ее желаний...
Я вся — стыдливость... и вся я тайна,
Я нега грусти, души томленье...
Я дева ночи... Я здесь случайно...
Я символ грусти, ее стремленья.

8.6.1924

Но как из Девы Ночи родилась Фурия Октября?
Об этом в следующей главе.

Рабкор

Откроем автобиографию Берггольц. В ней она так описывает начало своего пролетарского литературного пути:

«Моим одноклассникам нравилось, что я сочиняю, читала я массу, много рассказывала им о прочитанном, рекомендовала книги, которые они еще не читали, затевала всякие школьные литературные журналы и т. д.

Потом меня выбрали редактором стенгазеты (первые школьные опыты относятся, вероятно, к 1922 году — *авт.*), и я отдалась этому делу прямо со страстью. В это время, к 14 годам, у меня уже начались «сомнения в Боге», <...>, и все более неодолимая тяга к новому, к комсомолу, — к «революционной деятельности» — на меньшее я не рассчитывала. Я запоем читала мемуары революционеров, влюбилась сначала в Великую Французскую революцию, потом в Парижскую коммуну, бредила героикой гражданской войны, — такой недавней, такой пережитой, но осознаваемой только теперь. Незабываемым рубежом, скачком в другое качество был для меня день смерти Владимира Ильича Ленина. До мельчайших подробностей помню этот вечер, — как играли у нас в столовой в лото, как пришла соседка и сказала, что Ленин умер, как это меня потрясло. Я ушла на кухню к домработнице Дуне,

и залпом написала первое свое «политическое» стихотворение – на смерть Ленина. На другой день я читала его на траурном митинге перед всей школой, плакала сама, и многие девочки плачали, и какой-то товарищ из райкома партии, коммунист, в своей простой и трогательной речи упомянул, что «эти стихи мог написать настоящий комсомолец». После этого митинга я и несколько моих лучших подруг твердо решили, что обязательно вступим в комсомол, другого пути у нас нет, и я заявила об этом дома.

Несколько по-иному Бергтольц рассказывает об этом в «Дневных звездах»:

«...Смерть Ильича была для нашего поколения тем рубежом, с которого мы из детства шагнули прямо в юность, почти миновав ту тревожную, неопределенную пору, которую называют отрочеством...

Я написала о том, что только было:

Как у нас гудки сегодня пели!

Точно все заводы

встали на колени.

Ведь они теперь осиротели.

Умер Ленин...

Милый Ленин...

...когда я написала свое самое первое стихотворение о революции, о Ленине, я прочитала его папе... Через два дня он пришел с работы важный, даже какой-то напыженный, и в то же время явно ликующий – он совершенно не умел прятать радость, хоть на время прикрывать ее важностью или безразличием, ему не терпелось раздать ее другим. В то же время он не умел жаловаться на невзгоды – он стыдился, если был несчастен, точно сам был виноват в этом.

– Ну, Лялька, дела обстоят так... – важно начал он и тут же восклекнул, хлопая в ладоши: – Напечатали! Понимаешь, в нашей стенгазете напечатали! Сказали – отлично. Поздравляю. Теперь, пожалуй, ты настоящий поэт: напечатали!

Мне стало ужасно приятно и даже страшно. Я покраснела, выскочила в другую комнату и, закрыв глаза, расставив руки, немножко, но очень быстро покружилась, как тогда, когда была маленькой. Потом посмотрела на себя в трюмо: ну-ка, какая я стала после того, как мое стихотворение напечатали? Ведь я же теперь... настоящий поэт!»

Приведенный отрывок (как и автобиографическая выдержка) весьма знаменателен для последующего литературного пути Бергольц: успех ее политического стихотворения побудил юную поэтессу на революционное творчество в ущерб лирическим темам. Из этого не следует, что она писала больше о революции, чем о любви; но из этого следует, что она ценила свое революционное творчество выше лирического. Таким образом, ее ранние стихи (с 1924 г.) можно разделить на агитационные (не лишенные таланта), и — на описательные, с преобладанием лирических интонаций. Революционные декламации Бергольц были востребованы временем: первая её публикация, которую нам удалось выявить, появилась в ленинградской пионерской газете «Ленинские искры» в мае 1925 года. За 1925-26 гг. Бергольц пять раз публиковалась в ней, иногда — на первой полосе. В это же время юная поэтесса вошла в литературную группу «Смена». Вот что она писала об этом в своей «Попытке автобиографии»: «В 1925 году я пришла в литературную группу «Смена». С безумной робостью появилась я в этой группе. Мы встречались не реже двух-трех раз в неделю в доме № 1 по Невскому проспекту, под самой крышей этого дома. На седьмой этаж мы восходили без какого бы то ни было приданья и тут же начинали читать стихи и спорить». ЛАППовская (т.е. входящая в Ленинградскую Ассоциацию Пролетарских Писателей) литгруппа «Смена» образовалась в 1924 г. Руководили ей пролетарские поэты — сначала Илья Садофьев, затем Виссарион Саянов. В этой группе Бергольц познакомилась с поэтом Б. Корниловым, своим будущим мужем. Широта интересов «сменовцев» выходила за рамки строгого пролетарской литературы. Так, в «Смене» того времени (1925-27 гг.) читались

такие доклады, как «Современное состояние поэзии», «Проза Н. Тихонова», «Творчество Марлинского», «Творчество Розанова», «Творчество Гумилева», «Поэзия Николая Тихонова», «Поэмы Асеева», «Творчество Маяковского», «Задачи пролетарской прозы» и пр.

ЛАППовская группа «Смена» была образована в 1924 г., но фактически стала работать с конца 1925 г. (первый год группа имела состав случайный, в литературе не закрепившийся). В активе группы числилось 16 человек (в основном 1907 года рождения), и среди них Бергольц – единственная девушка. На творческих вечерах «Смены», в большой комнате под крышей углового дома на Невском проспекте, присутствовало 20-30 человек. На фотографии того времени Ольга сидит у комода рядом с большой белой дверью, скромно потупив глаза долу.

Почему «Смена?» Потому что, по объяснению Корнилова, они пробовали печататься в «Смене», заседали же в комнатке «Юного Пролетария». Корнилов писал: «Мы приходили сюда из вузов, с заводов, самому старшему из нас было не более двадцати лет. В карманах наших пальто лежали книжки стихов (не наших) и стихи, переписанные любовно на чистую бумажку (наши). Последние мы громогласно, нараспев зачитывали друг другу, обсуждали...»

Вальманахе «Смены» под скромным названием «Кадры» в качестве прозаиков выступали: Эйдук, Скоринко, Саянов, Глухов, Заколдаев, Вашкевич, Михайлов, Берзин, Петров, Гор. Поэзия была представлена Левоневским, Саяновым, Лихаревым, Корном, Звонаревым, Авраменко, Тепловым, Останиным. Все эти имена благополучно канули в Лету.

«Профессионализировалась я рано, – повествует Бергольц в «Автобиографии» – уже с 15 лет стала печататься в пионерской газете «Ленинские искры» – стихи и заметки, и маленькие рассказы. В 16 лет, в последнем классе школы, вступила в лит. группу «Смена», которой руководили рапповцы, и таким образом примерно через год стала членом РАППа, вернее ЛАППа, ленинградской ассоциации пролетарских писателей. После школы пришлось по-

ступить в ГИИИ (Государственный институт истории искусства), — так как для университета была слишком молода, да и «дочь служащего» — в то время это был невысокий показатель!

Это было очень колоритное учебное заведение: там учились в основном нэпманские сынки и дочеки, затем какие-то допотопные студенты-олосатики, главным образом «убежденные идеалисты», «философские интуитивисты», поклонники Лосского, Бергсона и, конечно, Фрейда. Было тут много извращенцев и извращенок разных направлений, какие-то даже кружки, как рассказывали мне, мужчины-студенты танцевали в газовых облачениях и пр. и пр. К счастью моему, я об этом только слышала. Нас, комсомольцев, в ГИИИ было очень мало, мы приняли на себя всю, так сказать, тяжесть борьбы с «накипью нэпа». Комсомол был тогда аскетичен, — ну, и я, конечно, тоже; никакой пудры, никакой губной помады, шелковых чулок, шляпок и т. д. Юнгштурмовка, красный платочек или ушанка зимой, низкий каблук, суровость и борьба, борьба с чуждой идеологией. Мне не раз приходилось дискуссировать с «убежденными идеалистами» изолосатиков, защищая марксизм, а значит, и много заниматься. Несколько раз я выходила победителем, раза 2-3 меня побивали и проваливали. Наконец, ГИИИ благополучно прикрыли, а комсомольцев и наиболее надежную часть студентов III курса перевели в Университет, на филологический факультет, который я и окончила в самом конце 1930 г.»

Итак, в «Смену» в 1926 году шестнадцатилетняя Ольга пришла с двухлетним багажом «революционных» стихотворений. И уже этим самым она не могла не быть востребована временем. Об этом свидетельствует статистика ее ленинградской литературной активности с 1925 по 1929 годы. Всего за этот период ею было опубликовано 35 стихотворений в газетах, журналах и альманахах Ленинграда того времени. Первенство принадлежит пионерской газете «Ленинские искры» — 10 публикаций; затем следует комсомольская газета «Смена» — 8 публикаций; журнал «Резец» — 6; журнал «Юный Пролетарий» — 5; газета «Красная Панорама» — 4.

В альманахах были опубликованы два ее стихотворения. Помимо этого дважды ее стихотворения публиковала московская газета «Комсомольская Правда».

О Берггольц той поры современник писал:

«Самая молодая и больше других «мятущаяся» поэтесса в «Смене». Удивительно удаются ей стихи, построенные на бытовом материале. С удовольствием прочитываются стихи «Астраханская селедка», «Фонарь», «Белье» и т.д. Сквозь все эти стихи лейтмотивом проходит какая-то специфическая наивность (в лучшем смысле этого слова).

Но Берггольц увлеклась за последнее время книжными темами. Нам известны её стихи «Народоволец», «Академик», печатавшиеся в «Смене». Удивительная схематичность!

Берггольц должна вернуться к бытовому материалу. Кроме того, ей больше надо работать над словарем».

Другой чуткий критик Берггольц (пожалуй, лучший ее прижизненный судия) Илья Гринберг отмечал недостаток «лирики образов» политических стихов Берггольц, отсюда — агиткличи, много «пустот и неуверенности».

Параллельно с агитационными стихами в поэтической папке юной Ольги скапливались и стихи иного рода: чувственные, живописные. При жизни поэтессы они были опубликованы лишь частично, в том числе и в первом сборнике её стихотворений (который так и назывался — «Стихотворения»), вышедшем в 1934 г. тиражом в 3500 экземпляров. В эту тоненькую тетрадочку вошло 19 стихотворений, самое раннее из которых, «Осень» («Мне осень озерного края...») датировано 29-м годом. Вообще, в период своего раннего творчества (с 1924 по 1929 гг.) Берггольц было сочленено около двухсот стихотворений, и только небольшая их часть была опубликована в периодике 20-30-х гг.; другая, немалая часть была опубликована посмертно сестрой Ольги Марией. Меньшая, но от того не менее ценная часть раннего стихотворного наследия О. Берггольц находится в архивах РГАЛИ (в настоящий момент труднодоступен для исследователей) и ИРЛИ. Около 70 стихот-

ворений из собрания ИРЛИ было опубликовано в сборнике рукописных трудов ИРЛИ в 2009 году.

Рассмотрим этот стихотворный материал, ранее неизвестный читателям. Начнем его анализ с неведомых ранних стихотворений Берггольц, представленных в РО ИРЛИ двумя тонкими учебническими, в линейку, тетрадями, и отдельными листами. Тетради интересны не только оригинальными стихотворениями, но и цитатами из других литераторов.

Так, в первой недатированной тетради (без начала и конца) цитаты из Ф. Сологуба, Н. Гумилева, Н. Бунина, Ахматовой; во второй тетради (надпись: «зима 27-28 г.»), на обратной стороне обложки поэтессой перечислены имена литераторов, произведения которых, как мы полагаем, она читала или собиралась читать. Это поэты (согласно её порядковым номерам): Пушкин, Блок, Гумилев, Лермонтов, Пастернак, Тихонов, Клюев, Маяковский, Некрасов, Дельвиг, Есенин, Брюсов, А. Белый, Баратынский, Ахматова, Сельвинский, Асеев, Светлов, Готье, Верхарн, Уитмен. Прозаики: Достоевский, Толстой, Гончаров, Тургенев, Лесков, Щедрин, Гоголь, Лермонтов, Бабель, Федин, Бунин, Куприн, Печерский, Чехов, Островский, Форш, Леонов, Эренбург, Писемский. Критики, публицисты: Плеханов, Белинский, Писарев, Герцен, Добролюбов, Чернышевский, Михайловский.

Этой тетради предпослан эпиграф из стихотворения Пастернака: «Так начинают жить стихом...»; обратная сторона обложки украшена цитатами из Блока («Узнаю тебя жизнь, принимаю...») и Некрасова («Стих, как монету, чекань...»); внутри находится четверостишие из Н. Клюева: «Узкая полосынька / клинышком сошлась...»

Эти стихи Берггольц интересны прежде всего влияниями поэтов-свременников. Это и Есенин (стихотворение «Предчувствие», «Не жалей ты меня, не жалей...»), и Ахматова («Осень 1927 г.», «Хоть что-нибудь придумать...») и Маяковский – например, «Среда»), и Блок («Как я часто удивлялась») и «Сменовцы» и другие, менее значительные поэты (например, М. Шефер,

стихотворение которого «Война» (опубликовано в 3-ем номере «Резца» за 1927 г.) перекликается с «Войной» Берггольц). Есть в ее творениях и отголоски народных песен («У газет под бровью»). Впрочем, Берггольц умела заимствовать весьма избирательно, не теряя при этом ни собственного лица, ни собственно-го видения мира.

Почему ранние стихи не были опубликованы при жизни поэтессы? Первая причина – их во многом ученический уровень. Вторая причина – осознанное желание Берггольц увековечить в сознании современников и потомков героические черты, же-лезную чеканность своего стиха. Неудивительно, что именно патетика Берггольц была воспринята эпохой – первая половина двадцатого века была окрашена пафосом социальных свершений. Героические стихи раннего периода – предвестники «жестокого расцвета» Берггольц, ее блокадных стихов.

Берггольц того периода не только стеснялась лирики, но и вы-смеивала ее. Проиллюстрируем наше утверждение нетипичным для ее творчества стихотворением (предположительно 1927 г.) – нети-пичным для ее творческого восприятия мира, но не для характера.

Я в позе Пушкина села в парке
На временем выгнутую скамью.
Вдруг – словно листья о ветер шаркают –
Шаги нарушают строфу мою...

Её листопад совершенно закапал,
Старушку, возникшую передо мной,
Когда-то пунцовый – рыжел её капор,
Салоп старомодный лысел смешно.

И лишь до нельзя остроносые туфли
На пухлой дорожке рдели – одни...
Глаза загорались, но быстро тухли
В далеком дворце нежилом огни.

Но был удивительно четок и узок
Автограф её бровей...
Ба!.. – я подумала – это муз
Еще царскосельских дней.

Да! Так и вышло.
Она присела
Непринужденно ко мне на скамью.
Смеркался сентябрь. В аллеях шипело.
Музя картавила повесть свою.

И блекло все больше лицо от заботы
У музы; и листья слетались к нему...
«Вы знаете?.. Я же совсем без работы,
Скажите мне, почему, почему?..

Ужели мой труд перестал цениться,
Уроки мои не нужны никому?..
Только вчера продала я цевницу
Старому сторожу своему...

Может ли быть, что не стало поэтов,
Не стало полета в гусином пере?..»
Но я головой покачала на эту
Совсем из ума выживавшую речь.
Простите, гражданка!.. Эпоха иная ...
От слов высокопарных устав
Музу с успехом нам заменяют
Программа, инструкция и устав...

А вы – вдохновенье!.. цевницы!.. свирели!.. -
Писак буржуазных грехи...
Да нас за полтинник научат в капелле
Писать резолюции и стихи...

Вы стали – укором... помехой... обузой... -
Проситесь в музей экспонатом...
Меня поняла и смутилась муга,
Подруга священных пенатов.

Она уходила... Рыжел её капор,
Топтались дворцы – нелюдимы и злы.
Сентябрь своей золотистой лапой
Царапал колонны, аллеи, стволы.

Не сама ли Муга Серебряного Века покинула тогда юную
Берггольц, а с ней – и всю советскую поэзию?

А вот еще одно стихотворение, посвященное Волховстрою
(1926 г.).

Пусть зовут плохими стихами
Эти строки к лучшему дню, –
Все равно, пошагаю за днями,
С злободневностью породнюю.

Над рабочим столом, над грудой
Позатранных серых газет –
Загорелось российское чудо –
Золотой волховстроевский свет...

И на стол – голубую поляну,
На колени ко мне впопад
Неуемный, сияющий, пьяный
Льется волховский водопад.

Я ласкаю теплый и милый
Электрический колпачок...
– Страшно знать, что былинная сила
В проводах по стенам течет...

Волхов! Волхов, косматый вечно,

— Сколько лет утонуло в тебе?

Ты ведь помнишь упрямое вече,

Годы: в голоде и в борьбе?

...И сегодня, на улице, в час ночной

Провода гудели над головой...

Мне казалось, что колокол вечевой

Раскачивается

над Невой...

Волхов! Волхов! Весна настанет,

Я пойду к твоим берегам —

Поклониться сверканью станций.

прикоснуться к твоим ногам.

Но, сквозь радость

Шепнет тоска мне,

Причиняя терпкую боль:

«Здесь ведь нет ни единого камня

Положенного

Тобой!»

Старый Волхов! Клянусь пред тобою,

Что ребяческий долг погашу,

И для сотни иных волховстроев

Кирпичей на спине наношу.

Вероятно, стихотворение было написано к «лучшему дню», к 19 декабря 1926 г., когда при участии членов советского правительства состоялся торжественный пуск Волховской ГЭС. Стихотворение написано по горячим следам события. Конечно, о Волховстрое писала не одна Берггольц. В № 1 Журнала «Резец» за январь 1927 г. на первой странице было опубликовано стихотворение Н. Рожкова «Сто тысяч вольт», также посвященное пуску Волховской ГЭС.

Стихотворение Бергольц любопытно не только актуальностью и образностью: «Кирпичей на спине наношу». Для более поздних героических стихов поэтессы свойственно причудливое переплетение коммунистических и христианских образов. Стихотворение о Волховстрое, возможно, первое тому подтверждение. Образность заключительной строки восходит к «Житию Ксении Блаженной», носившей на спине кирпичи для строительства церкви Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове, о чём не могла не знать Бергольц, воспитанная в религиозной семье (мать ее была набожной). Этот прием поэтессы использовала и в дальнейшем: как в прозе (в одном из её рассказов 30-х годов есть такое выражение: «делом, словом, помышлением» – взятое из православной исповеди), так и в поэзии (блокадные циклы; в «Февральском дневнике» – «крещенные блокадой»).

В следующем, «маяковском» стихотворении мы видим красочное описание НЭПа и искреннее недоумение юной комсомолки в связи с его существованием:

Мучимы похотью виолончели
Истомой расслабленные смычки...
Вот руки танцовщицы к лампам взлетели
И тоныше скрипок запястья руки...

Мужина-смокинг, с мешками у глаз,
Он женщину в красном сгибает и крутит...
Бесстыдно распластанная, прилегла
К нему ногами и грудью...

Мне дико и странно –
Не знаю, где я?
Не в кабачке ли парижских монмартров,
Где цены на женщину – рядом стоят
С ценой паштетов – на карте?

Барышен потчуют монпансье
Кавалеры из липких карманов,
Пока лысеющий конферансье
Овации клянчит обманом.

В морях маяки сурово маячат
Седеет Волхов от света станций,
Здесь ползает музыка на карачках,
Потом и кровью пахнет от танца...

Уйти нельзя — перемолвиться не с кем,
Скрипки сюсюкают — не пощадя...
Может ли быть, что за дверью — Невский,
Что строят трибуны на площадях?...

Конферансье изогнулся у рампы,
Прудок слюны на ладони руки...
Но в белом омуте верхней лампы
Спокойная мощь
древней реки...

Вечер — огни — полночь — притоны,
Бывший «Федоров», «Ша-Нуар»,
Довоенные цены
цыган-гарсонов
Предлагает, увенчанный знаменем, пар.

Я трогала знамя, — в нем пуля дыру
Пробила, — оно смугловато от крови...
Но знамя над баром,
над чуждой кровлей
Ему не товарищ, не брат,
и не друг...

В стихотворении упоминается «Федоров» — модный дореволюционный ресторан; и «Ша-Нуар» («Черная кошка») — популярное кабаре Петербурга. В дореволюционном Петербурге было три «Федорова»: на Екатерининской, 8, на Вознесенском, 22 и на Гороховой, 73. Был «Федоров» также и в Москве, на Покровской, 59.

Важной вехой в политико-литературной карьере Бергольц стало знакомство с Авербахом, о котором позже она никогда не вспоминала. Знакомство это имело не только литературный, но и интимно-личный характер. По всей видимости, юная Ольга решила, что всю советскую литературу того времени лучше всего представляет литература пролетарская, и потому, вступив в ряды ЛАППа, обрушилась с критикой на литературных попутчиков. В настоящее время о различных Пролеткультах той эпохи написано немало, и потому мы не будем подробно останавливаться на их роли в советской литературе 20-30-х гг. прошлого века. Бергольц поставила не на ту литературную лошадку, а ее связь с Авербахом стала причиной ее ареста в 1938 году.

Второй важной вехой в политико-литературной карьере Бергольц стало знакомство с Горьким.

«Осенью 1931 г. на представлении пьесы Афиногенова «Страх» я оказалась в той ложе, где был Горький и еще несколько писателей, сидела с ним в одном ряду, и, сознаюсь, во время спектакля больше смотрела на Горького, чем на сцену... — вспоминала Бергольц. — В антракте писатель С.Я. Маршак познакомил меня с Горьким. Тогда в Ленинграде создавался детский альманах «Костер», С.Я. Маршак возглавлял его, а я работала в этом альманахе кем-то вроде секретаря. С. Я. Маршак так и отрекомендовал меня — как секретаря «Костра» и начинающего писателя, и затем тут же стал просить Алексея Максимовича принять нас обоих, чтобы посоветоваться с ним, каким должен быть альманах, как сделать его интереснее, содержательнее, нужнее для советских ребят. Алексей Максимович согласился принять нас и попросил прийти к нему завтра же в 11 часов утра. <...>

Пока С.Я. Маршак договаривался с Горьким, я сидела рядом с ним и молчала, не зная, что бы такое сказать ему, хоть бы одно слово сказать... Но он вдруг сам обратился ко мне.

— Какой у вас платок-то красивый, — проговорил он ласково. Действительно, на плечах у меня был шелковый узорный платок.

— Это из Казахстана, — сказала я. <...>

— Знаю, — ответил он и, осторожно взяв в руки конец платка, любовно расправил его на колене, погладил рукой, как живое существо.

— До чего же они могут хорошо работать, — говорил он, любясь платком. — Какой узор красивый, краски! — он снял с головы свою остроконечную ковровую тибетейку. — Вот это тоже оттуда. Хорошо, верно? Очень хорошо человек работать может!
<...>

В конце 1932 года у меня вышла первая «толстая» книжка для детей. Я послала её Алексею Максимовичу, почти не надеясь на ответ, потому что знала, что Горький очень занят. Но ответ пришел очень быстро. Это письмо привез мне С.Я. Маршак.

«Прочитал Вашу книжку, — писал мне Алексей Максимович, — славная, задорная, но впечатление такое, что вы торопились. Нередко чувствуешь, что на этой странице недосказано, а здесь автор слишком бегло описал фигуру, там — недоконченное — недописанное лицо... Всегда очень важно первое впечатление читателя — первая фраза книги; это важно, как в музыке первые такты, как в картине решающая краска. Вы начали книгу диалогом, что всегда создает впечатление эскизности, и что — очень старый, избитый прием. Вам необходимо взяться за дело серьезно, у вас есть хорошие данные. Вы зорко видите, не мало знаете, но вам не хватает языка для того, чтобы одевать материал ваш красиво, точно и прочно. Так-то сударыня. Получили трепку? Всего хорошего».

Во время московского визита к Горькому Берггольц еще больше сблизилась с ним; однако она так и не стала близкой подругой «великого пролетарского писателя». В «Автобиографии» она

писала о Горьком: «В 1931 году вернулись в Ленинград вместе с мужем. В это время тут гостил А. М. Горький. С. Я. Маршак познакомил меня с ним, и Алексей Максимович почему-то просто-таки полюбил меня. Я рассказывала ему о строительстве и жизни Казахстана, — он слушал с восторгом; я знаю множество песен — народных, цыганских, блатных; нередко я пела их Горькому, в обществе, и А. М. бывал растроган до слез. Нравились ему мои первые книжки и стихи, говорил и писал он мне о них много хорошего (а книжечки-то, если теперь их почитать, были наивные, бесконечно слабые, но видимо, то новое, что крепло во всей стране, и несомненная лирическая искренность слабых моих опусов привлекало Горького — и во мне и в моих произведениях). И некоторые заветы Горького в его письмах ко — о необходимости «писать для себя, о себе, о том именно, что чувствуете вы», — остались для меня по сей день определяющими в работе. Мне передали, что он среди литераторов не раз говорил обо мне: «Такие девушки бывают только в сказке, это же фантастика»... Я бывала у него часто, ежедневно, когда он гостил в Ленинграде, останавливалась у него в семье, бывая в Москве. Он привлек меня к работе над историей заводов, а я в то время как раз (в 1931 г.) поступила работать в многотиражку завода «Электросила». Время было бурное, строились первые советские мощные гидрогенераторы для Свири и Днепра, — я увлекалась работой — с головой, и очень благодарна судьбе за свою настоящую, твердую связь с превосходным рабочим коллективом. Здесь меня приняли в кандидаты партии, затем в члены партии, и то, что чудесные рабочие-кадровики, старые большевики-инженеры дали мне рекомендации — было мне очень приятно, — больше, я этим гордилась, да и горжусь».

Скажем несколько слов и о кавказско-казахстанском эпизоде литературной жизни Бергольц, а, точнее, проиллюстрируем его письмами поэтессы. После окончания университета в 1930 г., Бергольц год практиковалась в одной Владикавказской газете, а затем вместе с Молчановым уехала в Казахстан.

Из владикавказских писем матери и сестре:

18/IV <30>

«Милая мама, ну вот я и приехала.

<...> Сегодня утром пришла в редакцию. Встретили очень радушно – еще бы, им работник нужен. Ну и нагрузили сразу, сегодня еду на съезд рабочих и крестьян Осетии».

22/VI <30>

«Устроилась я очень хорошо... Здесь же живут 2 сотрудника редакции, комнаты отдельной у меня нет, но т.к. в квартире тихо и никого не бывает, то работать можно. Оба они «неопасные» для тебя, мамук! Один косоглазый, другой пупсик, но ребята хорошие...»

28.7.30

«...Я ездила в Тифлис. Да ведь еще как! С агитвоенвелокросом. Понятно? Я ехала единственной женщиной и единственным корреспондентом с 67 велосипедистами и прочими мужчинами...

<...>

Тифлис – интереснейший город, как говорит Тихонов – город с двойной душой.

В старом Тифлисе посреди улиц громоздятся горы, ходят ослы, живописные ниши посыпают воздушные поцелуи, ужаснейшая Кура течет под висячими домами, из серных бань вытекают синие ручьи, в них полощутся дети и моют белье... А через 5-7 остановок (трамвайных, конечно) чистейшая столица, новые здания, прекраснейшие сады, последние моды, старые груzinки.

Нет, все это надо видеть.

Но я пользовалась потрясающим успехом у своих горных орлов! Это было что-то ужаснейшее. Мне буквально не давали проходу, лезли знакомиться, улыбались, ходили сзади, дежурили. Ну как там все же жарко! Ужас. Между прочим, получила предложение – работать в «Заре Востока»...

Ох, Муська, что это было за путешествие! Я ехала на машине. Мы первые в истории – велосипедисты – покорили великий Кавказский хребет – и грузовик! Я буду писать об этом.

Вообще, Муська, жизнь моя склоняет меня к самодовольству – пользуюсь успехом, получила неск. предложений руки и сердца...»

Из казахстанских писем матери и сестре:

31/1 – 31

«<...> Я еще не устроилась как следует, со дня на день ожидаю комнаты, откомхоз – обещает. Пока живу с ребятами в одной комнате – я, Коля, и еще трое. Комната неважная, холодноватая, главное, перебои с освещением, вторую неделю не горит электричество, т.ч. работаем в редакции до позднего вечера, а потом идем ночевать домой. Дома, надо сказать, страшно паршиво – грязно, неуютно, темно – работать нельзя, женской моей души не хватает на создание уюта.

<...> А работы много, нужная и интересная.

Кроме работы по газете выбрали в бюро комсомольской ячейки. Казахстан – край совершенно невиданных перспектив и богатств. Донбасс померкнет перед Карагандой. В Риддере сосредоточены богатейшие в мире залежи цветных руд – от свинца до золота. Я хотела бы объездить его, чтоб книга о Казахстане стала ценнейшим вкладом. Ведь в Казахстане я буду наблюдать третий год пятилетки, и окончание той самой пятилетки. Я очень хочу поехать в Караганду и Риддер. Вот, оборудую быт, буду работать над собой. Нет, я не раскаиваюсь, что поехала сюда... <...>

...расскажи Ирочеке, что живу я в Алма-Ате, а по городу ходят большие верблюды, и на осликах ездят ребяташки. Когда Ирочка ко мне приедет, мы с Колей купим ей осленка, и она будет ездить на нем, и есть огромные яблоки. Мы будем гулять в парке, большом-большом, как лес».

27/7 – 31 (в июле 1931 г. Бергтолц перевели в газету «За коллективизацию», на нее был свален огромный массив работы.)

«...не знаю, когда и облегчение будет, просто намаялась на этой чернильной работе, ни богу свечка, ни черту кочерга. Устала очень и выгляжу даже неважно.

<...> ...надо как-то рациональнее использовать свои силы и для государства и для себя. А так — просто потери сплошные получаются...»

10.2. 31 (сообщает сестре о получении комнаты на двоих с Молчановым)

«...Теперь организуем свой быт. Комната махонькая, но светлая, окошки большие — это хорошо; до потолка можно достать, едва приподняв ладошку над головой. Зато совершенно отдельный [в]ход, отдельные сенца, близко вода и базары. Чистая. Тёплая. Там же покупаем стол, ложе, два стула, ведро и таз. Все это в Алма-Ате, как во всякой Азии, чрезвычайно редкие вещи, ну вроде стеклянных бус в то время, когда еще были дикиари и путешественники. Наконец-то можно будет писать и читать».

Вернувшись в начале 30-х годов в Ленинград, Берггольц работает в редколлегии заводской многотиражки «Электросила», и одно время даже занимает пост ее редактора. Вскоре выходят ее поэтические книги: детские — «Как Ваня поссорился с баранами» (1929 г.), «Турман» (1930), «Поедем за моря» (1931); и взрослые — «Стихотворения» (1934), «Книга песен» (1936); и книги прозаические: детские — «Запруда» (1930), «Зима-лето-попугай» (1930), «Пыжик» (1930), «Стася во дворце» (1930), «Манька-нянька» (1931), «Горная жвачка» (1932), «Пимокаты с Алтайских» (1934), «Мечта» (1939); и взрослые: «Глубинка» (казахстанские рассказы- очерки, 1932), «Углич» (1932, рецензию на него мы приведем ниже.), «Ночь в «Новом мире» (1935). Нельзя сказать, что эти книги произвели большое впечатление на читателей. Да и критика была не восторг.

Приведем рецензию на «Углич» некоего П. Лысякова под грозным названием «Как не нужно писать о школе» (опубликована в 3-ем номере журнала «Народный учитель» за 1934 год);

«Не видит «укладывающегося» нового строя и автор книги «Углич» — Ольга Берггольц («Молодая гвардия», 1932 г.). Автор вспоминает провинциальный городок Углич и школу 1918 — 1919 гг. С тех пор прошло время, достаточное, чтобы суметь

показать прошлую эпоху осмысленно и продуманно. Однако автор показывает эти тяжелые великие годы в плане трогательных переживаний буржуазной 12-летней девочки. Эта девочка только недавно стала жить без прислуги, она очень не любит «мужиков», «верит в боженьку», дрожит от слов «большевик» и «комсомолец» и запоем читает Чарскую. Девочка стыдится, что ее отец в Красной Армии, называет армию «эти красные».

Предметы, которые обменивались на рынке на хлеб и о которых с грустью вспоминает автор, лишний раз подчеркивают классовые корни воспоминающего. «Проели воротник маминой шубы, мамину привязанную косу. Бирюзовое колечко, последнюю фамильную драгоценность».

Повесть говорит о советской школе, но читатель ничего не сохранит в памяти об этой школе. Зато как много «мило» поданных (в духе Чарской) воспоминаний о религиозных исканиях девочки, ведущей повесть: подача заявления о введении в школе уроков Закона Божия, исповедь, беседы с о. Иоанном, двенадцать Евангелий, водворение иконки в класс и т.д. Главные действующие лица в воспоминаниях – не школьники, не учителя, а обыватели – монашки, попы, кулаки, дамы общества и правоведы, удравшие из Питера.

Углич с монашками, попами и дамами общества близок автору. О том, что «где-то» скрывались моши и населению показывались вместо чуда чучела, набитые ватой, что «где-то» сражалась Красная Армия, учились безграмотные рабочие, автор говорит мельком, случайно.

Положительные, кстати сказать, ходульные неживые персонажи – комсомолка Катушинская и её учитель большевик Виктор – показаны с точки зрения героини Чарской: девочка влюбляется в своих героев, обожает их и плачет, что не может быть такой же.

Большевики в повести появляются один раз в конце книги на похоронах убитого коммуниста Раскина. Девочка со слезами, с молитвами, с мучениями к концу книги подходит к концу детства

и готовится стать большевичкой. Это не спасает положения. Книга показывает жизнь ненужной, бесполезной группы людей-обывателей, живущих в старом мире, мешающих автору видеть новые силы, «укладывающие» новый строй. Повесть «Углич» претаскивает в детскую среду все аксессуары Чарской (автор сам подчеркивает, что в свое время они все переболели Чарской, как корью). Влияние Чарской и в плавном языке повести и в истлевших, пропитанных нафталином, сравнениях. Вот эти сравнения: «она поднялась, как вдовствующая герцогиня»; «келья сияла, как фарфоровая ваза»; «петухи пели, как в Евангелии»; «комната светилась, как икона»; «он богат, как Али-баба». Что скажут эти образы советскому школьнику? К чему такие воспоминания?

«Углич» – книжка вредная, могущая стать для школьника сегодняшнего дня не корью, а черной оспой».

Не избежала Берггольц и напрасных трудов: до сих пор в архиве пылится 331 страница машинописи «История Электросилы», не изданная и никому не нужная до сих пор – ибо и современные наследники «Электросилы» издавать ее не желают.

Но были и положительные моменты в журналистско-писательской деятельности поэтессы: научившись писать на злоу дня, она могла приступить к оформлению и более серьезного материала. Для этого нужно было: личные потрясения и трагические внешние обстоятельства. И то, и другое замкнулось в ее душе в 41-42-ом году.

Февральский дневник

О блокаде сказано так много, что кажется: уже больше нечего добавить. Ныне живущим – нечего. Но тем, кто жил тогда, всегда найдется что сказать. В этой главе мы приведем неизвестные дневниковые записи Берггольц о Блокаде и обрисуем обстоятельства создания ей лучшего из своих творений – «Февральского дневника».

За несколько недель до войны Берггольц записала:

4/6 - 41

Я существо из разряда ничтожнейших. Роман стоит и — о, ужас, вроде как и писать его неохота. Я переношу его. Нет, сейчас хоть немножко напишу.

На уме — коммерческие предприятия. Их, собственно, надо бы осуществить. Надо денег. Надо одеться хорошо, красиво, надо хорошо есть — когда же я расцвету, ведь уже 31 год. Я все думала — время есть, вот зайдусь собой, своим здоровьем, внешностью, одеждой. Ведь у меня прекрасные данные, а я худа, как щепка, и все это от безалаберной жизни, от невнимания к себе. У меня могли бы быть прекрасные плечи — а одни кости торчат — и еще года 4 и им уже ничто не поможет. И так и с другим. Надо поцвести, покрасоваться хотя бы последние пять-семь лет, ведь потом старость, морщины, никто и не взглянет, и на хер нужны мне будут платья и польты.

О, как мало времени осталось на жизнь и ничтожнейше мало — на расцвет её, которого, собственно, еще не было. А когда же дети? Надо, чтоб были и дети. Надо до детей успеть написать роман, обеспечиться...

А надо всем этим — близкая, нависающая, почти неотвратимая война. Всеобщее убийство, утрата Коли (почему-то для меня несомненно, что его убьют на войне), утрата многих близких — и конечно, с войной кончится своя отдельная жизнь, будет пульсировать какая-то одна общая боль, и я буду слита вместе с нею — и это будет уже не жизнь. И если останусь жить после войны и утраты Коли, что маловероятно, то оторвусь (как все) от общей расплавленной массы боли и буду существовать окаменелой, безжизненной каплей в общей боли и уж совсем не будет жизни.

Так или иначе — очень мало осталось жизни.

Надо торопиться жить.

Надо успеть хоть что-нибудь записать из того, как мы жили. Надо успеть полюбоваться собой, нарядиться, вкусить от природы, искусства и людей...

Не успеть! О, Боже мой, не успеть.

И вот началась война.

Читаем дневники дальше:

14/VIII - 41

<...>

Я думаю, что правда — лучшее орудие против слухов и паники. Прямой разговор о них, прямой удар по слухам — тоже. Все эти мои агиттишки — наша агитация — жалкая кустарщина. Должны выступать «отцы города» — с открытым, прямым словом, но они молчат, их как бы и нет...

18/VIII - 41

Так неужели мы гибнем? <...>

Я никуда не поеду из Ленинграда, разве только в последнюю минуту — с Армией. По партийной линии — никаких указаний. Видимо, «актив» удерет, а нас оставят. Ну и что ж. «Мы должны управлять государством и мы будем им управлять», — кому же, кроме нас, защищать город?

20/VIII - 41 <...>

И все же я глубоко, бездонно несчастна, я обокрадена, обманута, низвергнута — безвозвратно. Я все равно погибну и жизни уже не будет. <...> я не женщина сейчас, не мать, не любовница, не человек, не гражданин, не писатель... Я кем-то придумана для войны, нарочно и злобно придумана... <...>

О, как страшно и тоскливо... прошла жизнь, прошла.

28/VIII - 41

Ровно два месяца войны. В этот день, два месяца назад, мы о ней узнали. Какой суровый подъем был, как все надеялись... а сейчас уныние, упадок, страх. Мы проигрываем войну — это ясно. Мы были к ней абсолютно не готовы — правительство обманывало нас относительно нашей «оборонной мощи». За восемь лет Гитлер сумел подготовиться к войне лучше, чем мы за 24 года.

<...>

Спокойно! Держи ответ за всю свою жизнь!

Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. Молись!

10 декабря 1941

О, как застыли ноги. В квартире — ледяной холод. Мне просто взаправду неудобно перед Хамармером, который сейчас должен приехать ко мне, за то, что он вынужден будет сидеть в таком холоде. Ну что ж, я предупреждала. Хамармер — комиссар одной крупной армии, обороныющей Ленинград. Я два раза выступала у них (где-то на Охте, а немцы в восьми километрах) с бурным успехом. Видимо, я понравилась ему, что ли, а может и взаправду его тронули мои стихи? Хвалили их тогда необычайно. Ну и вот, сегодня он приедет читать мне свой рассказ, и обещал привести коньяку и думаю, догадается привести что-нибудь к нему. Я именно из-за этого и сижу, ничего не делая, в своей чисто прибранной, надутенной комнате, где 2 градуса ниже нуля, напялила тулуп, одела свою чапаевку, подкрасилась и подпудрилась, при свечке выгляжу даже заманчиво, а утром были опухшие глаза и лицо, — очень плохо едим и очень плохо спала, у Коли три раза были птималь жуткого характера, он чуть не убил меня, шмякнув затылком о комод, и выломал все руки, так что они страшно болят. Я, разумеется, не сказала ему об этом. (Господи, 12 час., а моего комиссара все нет, неужели не может найти дороги в дом?).

16/XII

....В Ленинграде чудовищный голод. Съедены все кошки и собаки. Ежедневно на улицах падают десятки людей и умирают. Прохожие даже не подбирают их.

(....) Что за ужас наши жилища! Городское хозяйство подалось как-то разом, за последнюю декаду. Горы снега на улицах, не ходят трамваи, порванные снаряды, заиндивевшие провода, тихий-тихий город, только ставенки скрипят, а в жилищах ледя-

ной холода, почти нигде нет света, нет воды. Что у меня за руки, какое грязное лицо и тело — негде и нечем мыться! Чудеснейшие мои волосы стали серыми от копоти — у Молчановых есть буржуечка, она дымит жутко — я отвратительно грязна.

Недавно мы были у Мариних — прощались, думая, что успеем 14/XII. Мы пережили с ними 1937 и 1938 гг., когда все были запакошены и несправедливо оклеветаны. И вот мы собрались сейчас. Меня душило рыдание. Это отекшее Волькино лицо, зеленое, обтянутое лицо Маруси, деточки ее, опухшие, с черными пятнами под глазами, одряхлевшее, разбитое лицо Коли... Боже!..

Маруська сказала — «я поставила себе задачей — не умереть до нового года. Кило крупы нас спасло бы!»

А Хамармер накануне подарил мне 2 баночки консервов, полбутылки портвейна и 2 маленьких брикетика какао, — на отъезд. Один брикетик сразу выклянчил Коля, и мы его съели. Другой я решила отдать Марусе, но сегодня скормила его Коле, — он вчера был совсем плох, и я испугалась, что он умрет, как Фомин...

Маулишка лежит — и я не звоню ей, — чем я могу помочь ей? Отнять от себя и Кольки половину тех крох, которые мы имеем? Это не поможет ей, и еще обессилит меня и Кольку. Меня мучит совесть, что мы едим немного лучше, чем Марини, и я лелею мысль, что если послезавтра мы улетим, то я смогу оставить им брикетик пшена, м.б. муки, м.б. даже одну банку консервов — это все-таки кое-что... Ведь мы улетим к еде и сразу, уже в Хвойной, нам дадут поесть, а они останутся тут терпеть до лучших дней. Эти лучшие дни не так далеки — но как дожить, как дожить до них?

Я дотянула бы, несмотря на дико возросшую слабость, но Николай не дотянет — это явно.

Он стал уже не только страшен внешне, но жалок внутренне. Он оголодал до потери достоинства почти что. Он падает без сознания. Он как-то особо медлителен стал в движениях. Он ест жадно, широко раскрыв глаза, глотает, не чувствуя вкуса. Он раздражает

меня до острой ненависти к нему, я ору на него, придираюсь к нему, а он кроток, как мама.

Я знаю, что я сука, но ведь и на мне должно было все это скаться.

Вчера вдруг позвонил Юрка — он вернулся! Он не поехал в сырый Тихвин, отбитый нами у немцев, чтобы успеть застать меня в Ленинграде, сказать, что по ледяной дороге ехать нельзя и предложить другой вариант пути — через БВС Балтфлота. Но, кажется, Союз отправляет нас на самолете послезавтра. Я обрадовалась, насколько могу еще радоваться теперь.

Он приехал — красивый и здоровый, влюбленный и нежный. Спроворил мне валенки — они промокли, когда он тонул на Ладожском, а потом сильно сели — вот он и отдал их мне, а в Радио сказал, что будто бы их разрезали. Ну и верно — так могло быть.

Привез муки, немножко картошки и пшена, а завтра на пр. Красных Командиров мы устроим настоящий роскошный пир — только бы был ключ и вода. А если б еще свет горел — вот была бы роскошь! Я поставлю бутылочку вина, подаренную Хамармером — в дорогу, и м.б. даже тот кагор, который отдала Фомина за гроб — если самолет, то обойдемся и без вина, он принесет баночку консервов на похлебку, будет гречневая каша, блины, кофе и даже чуть-чуть шоколаду!..

Это ли не разврат в умирающем от голода Ленинграде!

И я буду ласкать его на прощанье, как могу, дойду до бесстыдства, до мрака...

Я, все-таки, наверное, не беременна, почти у всех баб прекратились менструации — это от голода.

Юрка мой хороший...

А Колю я увезу в Архангельск, положу в госпиталь, он оправится, я ведь люблю-то только его...

20/12-41

Я и Коля, по сравнению с другими, не должны ни на что жаловаться, в смысле еды, и все же, может быть и мы умрем от истощения. Очень вероятно.

Смерть от истощения, голодная смерть приняла массовый характер в Ленинграде. Умер Леснин, умер зять Эйхенбаума, умирал вчера Вася Валов и т.д. Когда идешь по улицам — навстречу все время попадаются люди, везущие на саночках гробы. Труднее всего теперь в Ленинграде достать гроб. Гроб стоит 250 грамм хлеба, а могила — 2 кило. Сегодня в булочной одна женщина умоляла Колю обменять несколько пачек папирос на мои 250 грамм — у нее умерла девочка, дочка, и чтобы сделать ей гроб, нужны эти 250 грамм. Колька говорил мне — «я уже протянул ей кусок, весь, без папирос, но потом подумал — «но ведь ребенок уже умер, и гроб ему необязателен». И он не отдал хлеба. И отлично сделал. Мы съели этот хлеб сами. Вот еще завтра обменять бы карточки мои на 1 категорию и получить те 100 грамм масла, которые давали сегодня по первой категории. Неужели я не получу их! Дура зав. столовой не дала мне их сегодня для обмена из-за того, что в райсовете не было света! Что за сволочи люди, неужели не понимают, что для человека значат эти 100 гр. масла! О, какая гнусная бюрократия всплыла сейчас наверх, как она дополнительно к фашистам мучит и тираничит нас! У нас дома лопнули трубы и жить в нем нельзя будет всю зиму — и все только из-за того, что какой-то идиот-вождь отдал распоряжение прекратить топку жилого фонда, когда немцы напирали на Волховстрой. За неск. дней без топки 70% жилого фонда вышло из строя. Теперь, если мы не уедем, мы на всю зиму лишены жилища.

8 января 1942 г.

Хлеб взят уже за 10. Третьего дня отвела Колю в военный госпиталь на Песочной улице, по протекции Хамармера. Он не уйдет никуда от страдания — в первую же ночь он попал в приемный покой, куда прибыли истощенные бойцы, голодные, страшные, и там должен был остаться ночевать — но, по крайней мере, он как-нибудь продержится. Там все-таки питание лучше, чем у нас дома. У нас дома просто ужас — один суп, т.е. почти несоленая вода с каплей перловой крупы, а на второе блюдечко той же перловой крупы. И все. Вчера и сегодня нам не дают даже вечерних наших супов. А в госпитале он хоть и не будет, конечно, сыт до

конца (разве теперь чем-нибудь насытишься!), но продержится до 13-18, а может быть, там будет лучше, или уедем...

Хотя я просто уже теряю надежду на улучшение. Хоть бы сладкое-то выдали, ведь ничего, ничего по карточкам не выдают! Народ мрет, как в страшной сказке.

Вчера, с бутылкой портвейна и бидончиком супа из 300 гр. конины я поплелась на проспект Красных Командиров на встречу с Юркой.

И с ним у нас радости теперь почти не осталось, все пожирает голод. Я не знаю, что бы дала, чтоб вернуть сентябрьские-октябрьские дни, когда мы сидели в бомбоубежище, и начинались эти регулярные тревоги с семи с половиной часов, за стенами крякало и грохотало, и стены колебались, и ежеминутно бомба, смерть могла рухнуть на наш дом, а я сидела очень красивая, с сияющими волосами и алебастровым, жемчужным лицом, в белой своей, так идущей мне кофточке, и он очень красивый, влюбленный, не сводил с меня влюбленных, чудесных, счастливых своих глаз*.

Мы были накануне гибели, немцы уже почти брали Ленинград, и мы неминуемо должны были погибнуть, если б они взяли город — я помню унизительный ужас бомбажек, напряжение во время артобстрела — но все это кажется почти счастьем по сравнению с тем, что испытываешь сейчас...

Кажется, 4 ноября — или, вернее, 8 — когда я первый раз ждала его на Пр.^{*} *оспекте* Кр.^{*} *асных* Ком.^{*} *андиров*,^{**} и пережидала там дикую бомбажку в чужом коридоре с чужими старухами — он шел ко мне сквозь тревогу и бомбажку. Уже было голодно (утешенье — то, что я могу одна съесть всю чечевицу!).

* Об этом стихотворение Бергтольц «В бомбоубежище, в подвале...», которое заканчивается так:

Я никогда с такою силой,
как в эту осень не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюбленной не была...

** Ныне Измайловский проспект Петербурга

но все-таки еще что-то было, было страшно, но радость и жизнь преодолевали это...

И вот — вчерашний мой путь туда. Иду, высоко закинув голову — так легче. Там, где сердце — нечто вроде большой опухоли, или пустой колбы, на дне которой болтается немножко какой-то жидкости. Но я иду и твержу себе: «врешь, преувеличиваешь — ничего особенного, портфель вообще тяжелый, взаправду, а не от того, что ты ослабла. Врешь, ты уже съела сегодня 250 грамм хлеба, и две тарелочки каши, и суп ела — нет, сегодня ты еще не умрешь, а вечером ты будешь пить вино, оно высоко-калорийно, оно тебя поддержит, нет, нет, не сочиняй, все в порядке, ты не умрешь!»

Точь-точь, как с бомбой — «почему именно в меня» — так и здесь — «почему именно я?» Но тут тяжелее отделаться от страха смерти — бомба — это внешнее, а слабость — это уж совсем твое, внутреннее.

И вот я шла таким образом, и по дороге навстречу ползли гробы, гробы в сумерках — из грубых досок, кое-как сколоченные, их везут на саночках. А еще у нас на детских саночках возят покойников сидя, закутанных, как живых — не у всех же находятся длинные санки.

У больницы Нечаева, у ворот стояла небольшая кучка людей — глядели, как у стены лежал мертвый ребенок лет 3-4, его только что положила сюда женщина, а сама ушла.

Я постояла, поглядела, послушала, как люди говорили — «а когда она его клала, он «ведь еще жив был» — и пошла дальше. Что я могла сделать? На Первой Красноармейской видела, как один гражданин подвел другого к стенке дома, прислонил — тот, покачиваясь, облокотился на стенку и медленно пополз вниз. Я прошла. Ну что, что я могу сделать? Отдать этому чужому, умирающему от слабости дядьке, мой портвейн? Зачем? Разве это спасет его? Его не спасет, а меня лишит радости — пусть даже тусклой — встречи с любовником за вином, у печки.

Так я шла на встречу с любовником, шагая через деревянные гробы, мертвых детей, брошенных материами, и умирающих мужчин у кирпичной стенки.

И он шел ко мне точно так же, ослабший, боящийся, что откажут ноги (у него стали сильно слабнуть ноги), шагая через гробы и не поднимая падающих от слабости людей. Мы не в силах помочь им всем, хоть чем-нибудь, их умирают тысячи ежедневно. В Манеже трупы складывают штабелями.

Наш вечер был мало радостен. Вино не принесло опьянения, а только какую-то тяжелую усталость, сонливость. Он говорил о любви, и я тоже, а какие у нас обессилившие тела, и как он меня раздражал тем, что настаивал, чтобы подбавить воды в похлебку и кофе и не допивать все вино. Он твердил: «мы должны выжить, мы должны выжить во что бы то ни стало. Ведь мы с тобой еще сохранили человеческий облик, тогда как другие давно его потеряли. Мы должны выжить, потому что именно ты напишешь всю эту правду об этих ужасных днях, именно ты, и никто больше. Для этого надо выжить, слышишь? И мы будем делать для этого все». Потом, в постели, он еще сказал: «я говорю тебе, надо выжить – ведь еще будет маленький...»

Это обожгло меня жизнью – радостью и благодарностью к нему, и больно стало: а как же Коля? Что ж, значит, я теперь живу (и душою) уже с другим и другой жизнью – а его только волоку и безумно раздражаюсь на него. И с яростью хлещу его по лицу, когда он буйствует во время припадков. Значит, Коля уже не главный, не господин?

Да нет, я люблю его, как раньше. И, может быть, еще больше, но проклятый голод, холод и тьма так стоят между нами, так истязают нас!

Боже мой, какая серая, страшная мука, ей выхода не видно, хоть бы один какой-нибудь конец, только уж конец! А конца не видно, и даже на частичное улучшение я, вместе с другими, теряю надежду. В том смысле – что не дотяну до улучшения...

Вот сегодня – странно, хлеба съела почти 300 грамм сразу и гуашь с двух супов, и утром кофе пила и чашечку портвейна – а сонливость и апатия хуже чем когда ничего по утрам не ел.

И важнее всего — а вдруг и завтра не достану у спекулянтки сладкого?! О, ужас! Единственno, что держит меня с утра — это кофе. Пить его без сладкого — неприятно. Но и кофе у меня все-го три баночки осталось — правда, если пить одной, то это еще на месяц, а то и полтора. Но я в панике — вдруг не получу у нее сладкого — конфет по 125 р. за 250 гр., которые стоят 5 р. 20 коп. Придется на рынке обменять на хлеб, а хлеб у меня взят уже за 10. Хотела 10/1 идти к Коле и взять хлеба сразу на два дня, но не выйдет, ну что ж, снесу ему грамм 300, и если чего возьму у спекулянтки. Только бы было у нее что-нибудь, черт с ними, с деньгами! Продам мамину машинку, торкино пальто — все продам, только бы продержаться. Продержать себя и Кольку. Моего Кольку. Вырваться из этой страшной жизни, вновь обрести радость. Ведь будет же когда-нибудь конец всему этому!

Еще надежда, что 10-11 вернется из Новой Ладоги Хамармер и возьмет меня к себе в штаб на 2-3 дня. Там у них я подкормлюсь, и может быть выклянчу что-либо домой.

О, как я все время, все время хочу есть — это что-то дикое. Последние дни почти не могу работать из-за этого.

И со вчерашнего дня — мечта: мне почему-то страстно хочется в Москву, к Муське, на ее неуютную квартиру, чтобы спать с ней вместе и есть калачи, которые я всегда покупала, когда приезжала к ней, есть, есть и есть калачи, или те черствые булки, которые валялись в буфете, есть калачи, обнимать Муську, лежать с ней, милой, родной, и плакать, плакать, без стыда, без конца, без меры. Лежа и плача вместе с сестрой, есть калачи; пока не станет туго в горле, пока не насытишься и не обессилишь от слез и сырости. О, как я хочу на Сивцев вражек к Муське, к моей Муське, к калачам, к тому, что было.

Как в тюрьме, мне уже кажется все происходящее затянувшимся диким сном, и кажется, надо только сделать усилие — и вот проснешься...

И вместе с тем — масса замыслов, и о многом хочется сказать людям.

Хотя и знаю, что единственное, о чем надо говорить им – это о том, что война – позор, бесчестие людей, это о том, чтоб уничтожить Третьего, проклятого Третьего /Третий лишний/, который стоит между людьми и мешает им жить и мучит их голодом, бомбами, огнем и стужей.

Хотя я знаю, что только к этому призывать людей – долг Человека и Писателя, но я трезво знаю также, что в этой области ничего не сделать, отклика не найти, голос не поднять.

Значит, в той неправильной жизни <в которой живешь>, надо работать, отодвинув главное... Война вообще – на все века – позор. Но мы – правы.

С колоссальным успехом прошло мое выступление с «Письмами на Каму». Даже в горкоме партии взволновались и попросили меня прислать им списки этих стихов – мол, лучшее за время войны и т.д.

А если бы дали прочитать «Дарью Власьевну!»

Но в той неправильной жизни, которой мы живем, есть такое, о чем надо писать в меру норм – чтоб дошло. Надо писать о простом человеческом, непобедимом вовеки.

<...>

Большевик (если это вообще реальная, человеческая категория) это именно тот, кто берется отвечать за других.

10/1

Ночевала с 8 на 9 у Мариных, ночью лежали с Маруськой и говорили об ужасе, в котором живем, при этом я говорила с абсолютным внутренним равнодушием – а утро началось так: вошла тетка из штаба П.<убличной> Б.<библиотеки> и сказала – доложила Вольке, как начштаба:

Т. Марин, в подъезде найден труп, что с ним делать. В бомбоубежище умер сотрудник Айзик – пошлите мужчин вынести его в читальный зал.

– Ладно, я распоряжусь, – угрюмо сказал распухший Волька.
– А отбыли или нет на трудповинность на Охтенское кладбище? Должны были четверо поехать.

— Ушли, — ответила он. — На чем же ехать...

У нас теперь новый вид трудпопытности — уже не рыть противотанковые рвы и не строить баррикады — а закапывать мертвцев.

Вместе со щемящей жалостью и любовью к городу у меня уже рождается отвращение к нему и ужас перед ним. Уходя от Мариних, я видела труп в подъезде. Это был мужчина, лицо у него было зеленовато-бледное, изможденное. Он лежал на спине. Я вдруг подумала, что вот и Колька мог бы так умереть — зайти в чужой подъезд, упасть на спину и умереть, и утром его назвали бы «трупом». Но теперь, видимо, он спасен. <...>

... Должно же в конце концов, полегчать в Ленинграде! Но я устаю уже вся, всё тянется к нормальной жизни без бомбёзек, обстрелов, унизительного голода, этой дикой жизни с заросшим дерьмом сортиром ... о-ох, как это ужасно.

А ощущение себя людоедом, сволочью — перед гибнущими от голода детьми! <...>

13/1-42

<...> Яшка <Бабушкин> сказал: «если такое положение, как сейчас, продлится еще 2-3 недели, мы должны будем все застремиться». Конечно.

Вчера вечером, когда во всем Доме Радио потух свет — пошла в сортир и заблудилась, когда шла обратно. В диком холоде и темноте я тыкалась по каким-то комнатам, нашаривала и открывала какие-то двери, нашупывала лампы, столы, шла дальше, опять ударялась в стенку, и ну ни щёлочки, ни огонька — просто ужас. Наконец, я стала кричать: «товарищи, я заблудилась». Кричала довольно долго — шел Ходоренко, услышал, чиркнул спичку, и я увидела, что я почти у своей двери...»

15/1-42

<...>

Надоело! Надоела героическая оборона, мужество, гордость нами, все это дикое, противоестественное напряжение, бесконечные гробы, собственные стихи, слова, слова и слова — надоело до

мучения. Хочу к Муське на Сивцев Вражек, хочу сбрить, есть, спать, читать, мыться — хочу простейшей человеческой жизни...

При первой возможности уехать из Ленинграда вместе с Колей — уеду. Хватит, семь месяцев отгрохали — да каких семь месяцев... А конца-края не видно еще — уж столько раз обещали и прибавку и все такое — что перестаешь этому верить.

14/I-42

Сегодня в страшном Союзе Писателей видела артиста Федора Никитина. Он опух и позеленел, он в военной форме. Обычный разговор: «ну как?» и т.д. Он ответил: «физически чувствую себя очень плохо — а живу хорошо. Так счастлив иногда, как никогда раньше. Верно, я никогда не жил так полно, так счастливо, никогда не работал с таким высоким подъемом! Мне трудно ходить — а там, на передовых, все время приходится ходить, выступать в землянках... Иногда у меня голоса не хватает — диафрагме не на что опираться — желудок проваливается, но я из последних сил тяну — и вижу, чувствую — как воспринимают, ловят мои слова прокопченные, усталые красноармейцы. Я теперь знаю — как жить! Я теперь только понял, как надо работать — а у меня за плечами 25 лет актерского стажа. Мне сорок два года, но после войны я начну совершенно новую жизнь, совсем по-новому буду работать...»

О, дай ему Бог выжить и вытерпеть все, что еще нам предстоит. Это чувство счастья так понятно и знакомо мне. Все, что мы переживаем — страшное бедствие, уродство, позор, смрад, людское бесчестие и величайшая глупость и бессмыслица. Мы знаем об этом. Дико говорить, что мы счастливы этим и радуемся этому.

О, лучше, лучше было бы, если б не было этого ленинградского героизма и мужества — этот герой — ужас, уродство, бред. Но раз так получилось, раз уж так дико устроен мир, что приходится жить в этом бреду (у нас случаи людоедства есть, даже трупы едят), — то слава тем, кто в этом бреду обретает счастье и чувствует, что живет, и вдруг наслаждается всей жизнью! Это носители Жизни, это она сама.

Была у Коли. Я рассказываю о нем всем, жалоблюсь и на кухне в доме, и на радио, плачу — а дела обстоят еще ужаснее, чем я рассказываю.

Его нет. Коли Молчанова на сегодняшний день просто нет — есть некто, которому можно дать лет 60-70 по внешнему виду, некто, ни о чем не думающий, алчущий безумно, дрожащий от холода, еле держащийся на ногах — и все. Человека нет, а тем более нет моего Коли. Его, на сегодня, уже нет, а если б умер этот, которого я сегодня видала — то умер бы вовсе не Коля...

Я не знаю, как объяснить это.

Но я понимаю — что это существо — когда-то было Колей и надеюсь, что Коля опять появится. Я сделаю для этого все, что в моих силах! Надо было бы каждый день ходить на Пряжку и подкармлививать его — но это немыслимо — через три дня ежедневных таких походов я свалюсь сама — с сердцем все хуже и хуже.

Как он ел сегодня — Господи, этого не описать. Ел с мертвым лицом и матовыми мертвыми глазами — у него сегодня опять два припадка, больших. Ел бутерброд за бутербродом, ел хлеб, ему принесли хлеб к обеду — он стал кушать и его. Выпил ложку рыбьего жира — сказал: «Это очень вкусно, дай еще...» Говорил: «а сладкого у тебя ничего нет?» Я отдала ему 60 грамм сахара, полученных по карточке, и мне было мучительно стыдно, что я сожрала дурантовые конфеты.

Варю ему бульон, но боюсь в субботу посыпать с Юркой Пренделем — он сожрет сам, или сожрут сестры, когда будут разогревать — ведь украли же у него сегодня во время припадка папиросы.

Вот задача тоже, когда на ближайших приятелей не надеешься. А Юрка немыслимо противен стал, он глуп, он глубочайший обыватель, он оголодал до психоза, неприличного для мыслящего человека; ведь я вот тут только все выкладываю, а на людях креплюсь — и, конечно, говорю об еде, и о том, что мне трудно, но слежу за собою, и говорю об этом в меру...

Видела вчера в Союзе А.А. Смирнова — он опух, у него просящие глаза, но он пишет большую книгу о творчестве Шекспира и говорил, что эти дни как-то раскрывают ему Шекспира по новому...

Слава несущим человеческую эстафету.

Я хочу быть в их числе. Я слишком (внутренне) погрузилась последние дни в едоцкое состояние.

Надо выбиться из него, как из-подо льда.

24/1-42

Поход к Бадаеву увенчался полным успехом: 5 кило месятки и 20 т.н. коржиков, которых уже нет — часть скормила Марииным, остальное сожрала сама — но «коржики» эти настолько блокадные, что их за сладкое и во сне почесть нельзя. Лучше сегодня я напеку Коле сладких лепешек на чистом подсолнечном масле.

О, у меня на сегодня столько еды, что прямо совестно. Кроме 5 кило месятки — нетронутых, остаточки от Лизуновской месятки. И я дала вчера 2 полных стакана Марииным — им еда на целый день, и им же 5 коржей, и почти 200 грамм отличного хлеба, и угостила сегодня 1 — месятковой лепешкой Волженина, и накормила месятковой кашей противных Пренделей — они ели с восторгом и вышло им много, и тете Маше дала немножко кофе и кусочек хлеба, и Пренделям кофе и другим.

Нет, мы с Колькой никогда не были жидами в смысле еды. Верно, мне было жалко отдавать эти крохи — ведь все это могла бы съесть я сама, но вместе с тем — какая радость видеть, как ела этот дикий коржик Галка и Вадик, как, обжигаясь, жадно, с остановившимися глазами ел кашу Юрка Прендель, и в эту минуту было не жалко еды вовсе, и я подкладывала им из своей тарелки.

Рвущее какое-то, терзающее, близкое к рыданию чувство, близкое к восторгу и исступлению чувство — голодному делиться с голодным.

<...>

Яшка <Бабушкин> позорно мало мне платит.

Нет, Коля, наверное не вытянет.

Он лежит без сознания, весь в моче, еще более похудевший и страшный, чем был, ни на что не реагирует, даже на меня, хорошо еще, что механически открывая рот — поел: съел бульона, около двух стаканов, видимо, котлетку выплюнул, съел 8 или 9 штук лепешек с сахаром.

Он морщится все время, как от страшной боли, ничего не соображает и тихо бредит. Он сказал, пока я его кормила: «опустите стяги», и еще: «на 50 % это вранье», и кажется: «возьми меня отсюда»... <...>

Я, я во всем виновата. Я бегала от него, я последнее время кричала на него, а он становился все более кротким.

Но разве я не билась с отъездом с ноября месяца? Разве я не отщипывала от себя куски? Разве не пыталась устроить его как можно лучше? Я била его по лицу во время диких, похабных его припадков — но я согласна была на этот крест — до конца своей жизни.

Нет! Он не должен умереть!

Позор — позор — вот что значит вся эта ленинградская героика. Так нельзя, так нельзя, как с Колей и другими.

Так нельзя.

<...>

Смертность растет и растет. Трупы валяются на центральных улицах не убранными. Вчера по пути в больницу к Коле видела три трупа — все без обуви, уже кто-то снял. Сегодня, на ул. Ракова — среди машин скорой помощи — труп женщины. Проехала телега, нагруженная трупами, как дровами.

Город превратился в огромную мертвецкую.

Смерть бушует в городе, как в средневековые во время чумы или оспы.

И видимо, от нее не уйдешь.

<...>

8/V – 9/V – 42

«Три раза выступала с «Февральским дневником» – потрясающий успех, даже смущающий меня. В Союзе – просто ликование. В 42 <армии> и у торпедников – бойцы и моряки плакали, когда читала. Особенно большой фурор – у торпедников – просто слава. Но мне уже как-то больше неудобно с ним выступать, пора писать ч-н новое. Успех – и в Ленинграде и в Москве. Ошеломляющий успех «Февральского дневника» смущает меня потому, что теперь следующее надо написать еще лучше, а мне порой кажется, что это был мой потолок*. А, как я писала его – в феврале – тупая, вся опухшая, с неукротимым голодом – я тогда только что начала есть, Юркино, с остановившимся, окаменевшим от недоумения и горя сердцем...

Как долго не могла раскачаться, злилась – Юрка торопил, я чего-то строчила тупо, с неохотой, а потом вдруг, почти непонятно, начала с бедного, с простейшего – и стало выходить... Но, конечно, не совсем вышло, я-то знаю, хоть и не говорю».

9/VII – 42

Перечла свой январский дневник – Господи, это сплошной голодный бред – и только.

12/VII – 42

Пример Севастополя <его падение – авт.> сильно повлиял на психику ленинградцев. Из Л-да бегут. Вообще, настроения подавленно-панические – даже «военная группа» писателей собирается дать тягу под разными предлогами. Все ждут штурма и боятся его.

<Все же> ... боюсь – и ни под каким видом не уеду.

4/VIII – 42

«Что же это – слава? Да, похоже, что слава, во всяком случае – народное признание. Меня знают в Ленинграде почти всюду. Недавно выступала в большом госпитале – а там у комсостава в списках «Дневник», давно известный им. Из Московского райко-

* Бергольц не ошиблась в самооценке «Февральского дневника»: двести проникновенных строк стали недосягаемой вершиной ее творчества.

ма мне звонят — «товарищ Берггольц, мы приглашаем вас и других знатных женщин...» А у меня — ни ордена, ни лауреатства, ни прессы! Я ни на минуту в стихах не потрафляла начальству, не подделывалась под народ, не снижала мысли. Известность пришла ко мне не через Союз, не через печать обо мне, в труднейшее время, когда человек необычайно чуток на ложь, известность пришла суровая, заработанная только честным трудом, только сердцем — открытым, правдивым — я ни в чем не лгала себе. Даже Махатов сказал: «какое вы хорошее имя себе заработали», — да, это так. Самое главное в этом хорошем имени можно сформулировать так: «она пишет правду».

О, мне сейчас будет очень трудно — мне надо очень беречь это имя и писать так, чтобы не приносить разочарований моим читателям».

Берггольц не испытывала «головокружения от успехов», понимала, что «славы минутный шум пройдет» и относилась к этому спокойно. К тому же этот шум доходил не до всех.

В дневнике от 7/IX — 42 поэтесса сообщает, что вторично ее застукала на рынке следователь и потащила в трибунал, грозя 10 годами, обыском; отпустила лишь после «унизительных рассказов» о том, кто она такая.

Были ли у Берггольц литературные конкуренты, негласно оспаривающие кровавые лавры «Блокадной Музы»? Разумеется, были. О блокаде из блокадного Ленинграда писала не одна Берггольц: в 1943-ем году вышла поэма Зинаиды Шишовой (1898—1977) «Блокада», в этом же году вышел сборник стихов Веры Инбер (1890—1972) «Душа Ленинграда», а годом ранее — ее поэма «Пулковский меридиан». Раньше всех, в октябре 1942 года, вышла «Ленинградская тетрадь» Берггольц, куда вошли «Февральский дневник» и «Ленинградская поэма». Ленинградская тетрадь была первой не только по времени, но и по качеству. Шишова и Инбер уступили поэтическое первенство Берггольц — ибо стихи ее прожигали сердца читателей дотла.

Да и сами произведения Шишовой (слабая, бессвязная и беспомощная поэма) и Инбер («Пулковский меридиан» в отношении формы превосходит «Февральский дневник», но отстранен и холoden) не появились ли под влиянием Бергольц?

Наверное, высшей оценкой «Февральского дневника» стало его **хлебное** измерение. Дневник меняли на хлеб в блокадном Ленинграде (об этом писала Бергольц и один из ее критиков)*. Как выразился писатель-фронтовик М. Дудин, поэтесса стала «частицей Ленинграда, его живинкой, его необходимостью». Он же, представляя Бергольц на вечере фронтовой лирики 19 февраля 1968-го года, сказал: «Эта не носившая солдатской шинели женщина сделала во имя победы не меньше, чем целая дивизия на фронте».

Дневник от 24 / IX 42-го:

«Известность, оказывается, более утомительная, чем приятная вещь.

Сегодня с утра — звонки от каких-то руководителей концертовых бригад, просьбы о материале, потом молоденькая артисточка читала исковерканную «Ленинградскую поэму» и я доказывала, что нужно начинать с первой главы — все это надоедно, я, как товарищ, не привыкший к известности, чувствуя себя перед ними обязанной за их внимание, а то, что даю им — мне не нравится уже, не то нужно, когда немцы заняли 2 улицы в Сталинграде, а такого, чтоб дать им и сказать властно — «идите и читайте это», — у меня нет. <...>

И раздражаюсь вдруг нехорошо: все липнут, всем вроде как нужны мои стихи и я, а обо мне — никто не думает: с ног у меня все обвалилось, одеться не во что — хожу в своем мешкоподобном пальто — просто срам... ну, да не в этом дело».

Дневник Всеволода Вишневского от 5 мая 1943-го:

«Вечером у Ольги Бергольц и Ю. Макогоненко. — Новоселье в блокаде! (Улица Рубинштейна, 22). Три комнаты — убраны про-

* Однако книги в блокаду находили себе и иное применение. На них варили грели пищу (из двухтомника Пушкина можно было согреть себе обед — так мне рассказывала одна блокадница). А читзал Публички был обустроен под морг.

сто: всюду книги, в одной из комнат — библиотека по XVIII веку, рисунки, фото. <...>

Подарили Ольге Берггольц (от нашего домика) деревянное блюдо с надписью: «Чай кушай, хозяйку слушай» и пирожок с запечеными в нем двенадцатью эпиграммами и сентенциями.

Весело болтали о том о сем... Ели селедку и кашу. В раскрытую форточку доносился грохот зенитной стрельбы. Все оживлены и довольны возможностью развлечься.

6 августа 44 г.

Вечером с С.К. — у Ольги Берггольц. Были Кетлинская, Крон, Штейн и др.

Общий разговор о новостях дня:

<...>

Вечер А. Ахматовой и Ольги Берггольц прошел, как чествование... Лихарев растерян... Хочет «подумать», допустимы ли такие вечера? (Ха, ха!...)»

Много ли печатали Берггольц во время войны в неавторских сборниках? Мы держали в руках все семь ее книг общим тиражом более 125 тыс. экземпляров. Ее часто печатали в газетах, в том числе и центральных, что означало — миллионные тиражи, за которыми неизбежно следовала известность.

Фадеев так оценивал довоенную и военную Берггольц:

«Она писала до войны. Она писала лирические стихи, стихи и рассказы для детей. Видно было, что она человек с дарованием, но голос у нее был тихий и неоформленный. И вдруг ее голос зазвенел по радио на весь блокированный город, зазвенел окрепший, мужественный, правдивый, полный лирической силы и неотразимый, как свинец. У нее умер муж, ноги ее опухли от голода, а она продолжала ежедневно писать и выступать. И в ответ на ее стихи к ней посыпалось письма от рядовых ленинградцев — товарищей по горю и борьбе. Ею была создана поэма «Февральский дневник» — одно из самых правдивых и проникновенных произведений о Ленинграде и о ленинградских временах блокады. Сила этой поэмы

в том, что она говорит не о выдающихся людях Ленинграда, а о самом обыкновенном, рядовом ленинградце. В поэме есть выражение: «слезы вымерзли у ленинградцев». Да, слезы вымерзли у ленинградцев! Я ни разу не видел ленинградца, плачущего о смерти близкого человека и вообще в тяжелые минуты жизни, но я не раз видел слезы на глазах ленинградца, большого и малого работника, сурового бойца и юной девушки, когда кто-нибудь по справедливости оценивал их великий безыменный труд».

Уже во время блокады Бергтольц стали воспринимать как Блокадную Музу — единственную, героическую, трагическую.

Дневные звезды

Собрание автобиографических рассказов, позднее объединенных названием «Дневные звезды» Бергтольц задумала еще до войны, и тогда же были написаны начальные главы этого сборника. У него была счастливая судьба и миллионные тиражи. Современники справедливо называли «Дневные звезды» автобиографической прозой, хотя, точнее сказать, это собрание рассказов-воспоминаний, пронизанных общей идеей, той же, что и в Первороссийске: не может быть, чтоб жили мы напрасно! По этому произведению был снят фильм, показанный на Венецианском фестивале.

В 1974 г. Ленинградский Измайловский парк Культуры и Отдыха и стройтрест СУ-61 создали клуб «Дневные звезды» с целью изучения глав одноименной книги Бергтольц. Занятия начались в 20 часов в помещении общежития девушек-строителей СУ-61 по адресу: наб Обводного кан., 132.

Программа предусматривала:

Январь — рассказ о гражданственном и творческом облике Ольги Бергтольц (Слово о поэте — литературовед Н.Ф. Банк. Лирика Бергтольц — читают артисты Ленконцерта).

Февраль — «Поездка в город детства»; «Это моё»; «Сказка о Свете»; «Ленин». (Участвуют ветераны КПСС и комсомольцы 30-х гг.).

Март – «Та самая полянка...» (песни, которые были рядом. Исполняют артисты Ленконцерта).

Апрель – «Серебряная ночь» (Встреча с деятелями искусства, защитниками Ленинграда).

Май – «Гужово не взять!» (Встреча с ленинградцами, пережившими блокаду Ленинграда).

Сентябрь – «День вершин». «Лермонтов» (Встреча с работниками ленинградского Радиокомитета, работавшими в годы блокады).

Октябрь – «Валдайская дуга», «Корноухий колокол». (Звучат старинные русские песни).

Ноябрь – «Антон Иванович сердится». (Встреча с кинематографистами, снимавшими Ленинград в блокаду).

Декабрь – «Поездка за Невскую заставу». (Автобусная экскурсия).

В черновых набросках к «Дневным звездам» поэтесса писала:

«Угличский колокол, хранящий все тот же набатный зов, полный гула времен, ничего не прощающий и не забывающий, должен быть наготове, чтоб каждый из нас мог качнуть его тяжкий и неподкупный язык. <...>

Угличский колокол гудит в моих ушах – это право мое и обязанность моя и судьба моя быть угличским колоколом – бить в набат против мировой несправедливости...»

Это сочинение стало ответом тем критикам, которые предрекали замкнутость Бергтольц исключительно в блокадной теме.

Дневные звезды стали последним прижизненным вкладом писательницы в копилку Русской Словесности.

Своебразной зрывой кульминацией литературного признания Бергтольц стал вечер в честь ее 60-летия.

Л. Левин писал:

«Вообще же юбилейный вечер удался на славу. Ленинград чествовал своего поэта. Все то высокое и гордое, что говорилось про Ольгу, было ею поистине заслужено и выстрадано.

Председательствовала Кетлинская, в кратком вступительном слове подчеркнувшая, что именно она в свое время направила Ольгу на радио. С. Орлов и С. Ботвинник читали телеграммы (их было великое множество: Ольгу коллективно поздравили писатели почти всех братских республик, а также М. Бажан, Ю. Завадский, А. Твардовский, Н. Тихонов; Р. Гамзатов прислал даже две телеграммы!).

Прочитав стихи, посвященные Ольге, П. Антокольский опустился на колени и поцеловал край ее платья. Ольга помогла ему подняться и поцеловала листок со стихами, который он ей вручил.

Секретарь райкома партии Б. Андреев рассказал о том, как в 1942 году семнадцатилетним мальчиком впервые читал стихи Берггольц и какое огромное впечатление они на него произвели. Представитель «Электросилы» сообщил, что Ольге присвоено звание почетного электросиловца, и подарил ей модель гидрогенератора, изготовленного заводом для Красноярской ГЭС. Внучка легендарного И. Андреенко — это он в годы войны выдавал ленинградцам «сто двадцать пять блокадных грамм» — преподнесла Ольге роскошный букет желтых роз и с необыкновенной грацией сделала книксен (потом, во время банкета, он несколько раз повторялся по просьбе юбиляра). От имени Дома писателей имени Маяковского Ольге был подарен гигантский торт в «шестьдесят свечей» (зал скандировал, как на стадионе: «Мо-лод-цы!»).

Сотрудница Ленинградского радио Н. Паперная рассказала, что когда-то во время блокады, встретив ее на лестнице в здании Радиокомитета, Ольга протянула ей луковицу: «Возьми, тебе нужней, у тебя дети». Через тридцать лет, внук Н. Паперной решил вернуть Ольге старый долг и принес... большую корзину с луком.

Известный ленинградский радиожурналист Л. Маграчев только что побывал в бывшей «слезе социализма» — на улице Рубинштейна, 7. Оказалось, что по этому адресу до сих пор продолжают приходить письма на имя Ольги Федоровны Берггольц. Одно из них он тут же вручил Ольге. Потом включил старую магнитофонную запись. Мы услышали глухой, донесшийся

из самых недр блокады голос Ольги, читавшей свои знаменитые строки: «Ленинград в декабре, Ленинград в декабре! О, как ставенки стонут на темной заре...»

Когда пленка кончилась, Антокольский со слезами на глазах вскочил со своего места и энергичным жестом поднял зал. Все встали. Раздалась громовая овация.

В заключение выступила Ольга:

— Сегодня я должна поклониться моим учителям — Самуилу Яковлевичу Маршаку, Корнею Ивановичу Чуковскому, Анне Андреевне Ахматовой, и, конечно, Алексею Максимовичу Горькому. Горький учил меня требовательности к себе, Ахматова — мужеству. Многому я научилась у Бориса Леонидовича Пастернака. На сегодняшнем празднике нет моих дорогих друзей Бориса Петровича Корнилова, Юрия Павловича Германа, Евгения Львовича Шварца, Михаила Михайловича Зощенко. Низко кланяюсь им. С Германом мы очень много спорили и очень дружили...

Поминая добром одного из своих ушедших дорогих друзей — Германа, Ольга и здесь не могла не вспомнить, как много спорила с ним (в стихотворении «Когда я в мертвом городе искала...» тоже есть строка: «Я знала все! Уже ни слов, ни споров...»).

Заканчивая выступление, Ольга прочитала несколько стихотворений: «Борису Корнилову» («О да, я иная, совсем уж иная!..»), «Перебирая в памяти былое...»), «Михаилу Светлову» («Девочка за Невскою заставой...»), «Стихи о херсонесской подкове».

Почему она выбрала именно эти стихи?

Глубокой, неизбывной грустью прозвучали последние строчки «Стихов о херсонесской подкове»:

Дойду до края жизни, до обрыва,
и возвращусь опять.
И снова буду жить.
А так, как вы, — счастливой
мне не бывать.

Вечер кончился, но пробиться к Ольге было немыслимо, — ее сплошной стеной обступили люди с подарками и цветами. Многие хотели получить автограф на книге «Верность», — оказывается, в этот вечер ее здесь продавали.

Наконец нам удалось проникнуть в библиотечную комнату за сценой и вручить Ольге подарок — египетскую сафьяновую шкатулку с вложенными туда книгами: «Путями советской поэзии» Гринберга и моими «Четырьмя жизнями».

Я много раз бывал на юбилеях, но такой искренности, такой нежной и благодарной любви к юбиляру, такого единомыслия и единочувствия с ним, пожалуй, никогда не наблюдал».

В нашем распоряжении оказались списки, составленные рукой Бергольц к упомянутому юбилейному вечеру 1970-го года. Из фамилий некоторых приглашенных явственно вытекало: Бергольц фрондировала советскому абсолютизму.

Наряду с такими ленинградскими писателями, как В.Н. Орлов, Л.В. Успенский, В.К. Кетлинская, И.М. Меттер, Л.Н. Рахманов, М.Л. Слонимский, Ф.А. Абрамов, Д.Я. Дар (Рывкин), А.И. Павловский и московскими писателями П.Г. Антокольским, Б.А. Слуцким, З.С. Парпрым, Л.И. Левиным, С.С. Наровчатовым, М.И. Алигер, Р.Г. Гамзатовым, Ю.Ю. Смуулом, Г.Г. Абашидзе, И.Л. Андрониковым, в списке значатся: Н.И. Грудинина (заступилась за Бродского), Д.А. Гранин (Герман), один из кумиров читающих либералов, А.Т. Твардовский (в феврале 1970-го года ушел с поста главреда «Нового Мира»), В.П. Некрасов (лауреат сталинской премии; был в описываемое нами время на грани опалы, в 1973 г. исключен из партии, в 1974 г. уехал в Париж, в 1975 г. возглавил антисоветский журнал «Континент»), А.И. Солженицын (в 1969 г. исключен из Союза Советских Писателей, в 1970 г. получил Нобелевскую премию по литературе).

Сохранились воспоминания сотрудника журнала «Новый Мир» Лакшина о последней встрече поэтессы с Твардовским.

«Твардовский был болен уже больше года, — писал он. — Он слег через семь месяцев после того, как вынужден был уйти из «Нового

мира», и больше не поднялся. Болезнь его была стремительна и, в сущности, неизлечима. Врачи, считавшие его до той поры практически здоровым, констатировали почти одновременно инсульт и рак легкого. Но богатырский от природы организм все еще сопротивлялся. Он кочевал из больницы домой и снова в больницу, внушая временами близким неоправданные надежды. Осенью 1971 года, отпущеный врачами после последней попытки лучевой терапии, он жил, слабея день ото дня, на даче в Пахре.

Все те полтора долгих года, что он болел, я постоянно навещал его, но знал, как трудно бывает ему встречаться с людьми, даже с теми, кого он хорошо помнил, любил, и читать в их глазах отчаяние от того, что они видят его таким.

Все это я откровенно рассказал Ольге Федоровне, отговаривая ее ехать, но она терпеливо выслушивала меня и повторяла одно: «Я должна его еще раз увидеть». «Вы твердо это решили? — спросил я. «Я склонила мужа, отца, всех близких, — отвечала она, гордо подернув головой, — и я умею сносить горе».

Накануне вечером, когда происходил этот разговор, я опять допоздна засиделся у нее. Переживая предстоящее свидание, она, волнуясь, рассказывала об одной давней встрече с Твардовским. Это было в 1952 году, на открытии Волго-Донского канала, «великой стройки» послевоенной пятилетки. Группа писателей была послана присутствовать на этом торжестве и воспеть прославленный проект века, соединивший воды двух великих рек. В первый же день они с Твардовским и Юрием Германом пошли смотреть грандиозный котлован за колючей проволокой, в который должна была хлынуть вода. Над сухим ложем канала, над бетонной плотиной высилась огромная статуя Сталина.

Твардовский ужасно затосковал... В торжественный день, когда взорвали перемычку, работяги шли по колено в воде вдоль берегов канала, счастливо улыбались, плескали ладонями воду себе на лица и говорили радостно, сквозь слезы: «Идет... Идет освободительница». Прошел слух, что на радостях строителей канала — всех заключенных отпустят по домам.

Современных гостиниц в том степном краю, конечно, не было, писателей разместили кого куда. Ольга Федоровна жила в хатке у расконвоированного Твардовского пришел к ней, стульев в доме не было, они сидели небольшой компанией прямо на полу, подстелив что попало, закусывали и говорили о том, о чём вслух люди станут говорить лишь четыре года спустя:

...когда со дна морей, с каналов
к нам возвращаться начали друзья.

Эти три дня на Волго-Доне Ольга Федоровна никогда не могла забыть: они что-то в ней перевернули и сделали Твардовского навсегда близким для неё человеком.

В тот день, когда я повез Берггольц к Твардовскому, выдалось чудесное осеннее утро, солнечное и тихое. Когда я зашел за ней, она еще не была готова. С необыкновенной тщательностью выбирала платье, туфли. Беспокойно спрашивала, что взять ему в подарок — последнюю книжку или лучше свою фотографию, удачно исполненный молодой портрет. Она явно не понимала, что ее ждет. Книжку и портрет я отсоветовал, да к тому же она припомнила, что книжку ему уже посыпала. Взяла со стола забавную птичку-самоделку из сосновой шишки: «Отвезу и скажу, что это я».

По дороге на Пахру (мы ехали на такси через Кольцевую) Берггольц была оживлена, почти весела даже, и все вспоминала почему-то то Фадеева, то Горького, явно избегая думать о том, зачем и куда мы едем.

Приехали мы довольно рано. Трифонович только позавтракал и сидел в своем обычном зеленом кресле — спиной к холодному камину, лицом к широкому окну, выходившему в сад. Мария Илларионовна с утра уехала в Москву, и нас сердечно встретила младшая дочь Александра Трифоновича — Оля. Видно было, что Твардовский обрадовался нашему приезду. Го-

ворил он с трудом, клочками фраз, иногда их смысл приходилось разгадывать, но улыбался приветливо. Ольга Федоровна, как девочка, присела на корточки возле его кресла, застеленного племом, концы которого сходились у него на коленях. Она поцеловала его в голову, потом гладила рукой остатки волос, говорила какие-то нежные слова. По лицу его пробежала тень смущения, и он сказал «польщен». Вышло чуть-чуть высокомерно-насмешливо, но, смывая это впечатление, он рассмеялся, откинув голову. Ольга Федоровна расцвела.

Потом они сидели друг против друга, и Ольга Федоровна настойчиво пыталась заставить его что-то вспомнить, а он с трудом и невпопад отвечал ей. Мне, бывшему у него в последние месяцы часто, все это было привычно, и, вообще говоря, Александр Трифонович показался мне даже на удивление хорош в тот день. Широкоплечий, величавый, в какой-то новой светло-серой вязаной шкуре, которая шла ему — настоящий викинг, только замогший или тяжко раненный в недавнем сражении. Голубые, детские глаза его смотрели ясно и доверчиво, а над светлым лбом свисал клок сильно поредевших после облучения волос.

— Я очень постарела? — спросила Ольга Федоровна.

— Нет... Средне... — с напряжением подыскивая слова, ответил он. И прибавил, проведя рукой по лбу: — А у меня вот волосы... выросли...

Утешая его, так говорили в доме, и он повторял эти слова.

Ольга подарила ему птицу из шишки и не знала, что делать дальше, как справиться с охватившим ее волнением. Стянула янтарное кольцо со своего пальца, стала надевать ему на мизинец — кольцо не лезло. Тогда она подозвала Олю и, повергнув ее в растерянность и смущение, подарила кольцо ей.

Мы пробыли у Твардовских полчаса и заспешили к ожидающей нас машине. Едва мы тронулись, Берггольц откинулась на заднем сиденье, закрыла глаза и сказала хрипло: «Его нет». — «Как нет?» — «Он умер». Ей показалось, что он ничего уже не узнает, не понимает. Я стал разуверять ее. «Нет,

я знаю, знаю, таким был Коля перед смертью...» Она отвернулась к окошку машины, и мы долго ехали молча. Потом снова окликнула меня: «Разве вы не видите, что он мертв, глаза не смотрят...»

А вечером, в ее комнате, я снова слушал, как она бесконечно вспоминала дорогие ей лица, горевала, оплакивала ушедших и уходящих и пыталась залить горе вином.

Александр Трифонович умер два месяца спустя, Ольга прилетела на его похороны из Ленинграда и тотчас позвонила мне. Я нашел ее в состоянии какого-то горестного безмолвия в номере гостиницы «Москва». В широкой вазе стоял неправдоподобно большой букет красных гвоздик, свежих, только с утра срезанных для нее в ленинградском Ботаническом саду. Ольга Федоровна ходила по диагонали из угла в угол комнаты, держа руки у висков. «Простите, что заставила вас приехать. Вы единственный человек, которого я могу сейчас видеть», — сказала она.

А на другое утро я едва узнал ее в почетном карауле у гроба — тонкую, строгую, подтянутую и без единой слезинки.

Она часто упоминала в разговорах свою любимую книгу «Узел», изданную лет за семь до того и с той поры давно разошедющуюся. Давала ее читать, но подарить не могла: не осталось экземпляров. Теперь она привезла эту книгу мне и написала на ней: «Владимиру Лакшину в дни, которые мы никогда не забудем. 18—21 XII.71». Это дни смерти Твардовского и прощания с ним».

Далее Лакшин пишет:

«Чем больше я думаю об Ольге Бергольц, тем лучше, кажется, понимаю главное в ней: огромная, не помещавшаяся в себе, сжигавшая ее энергия любви была заключена в этом сердце. Любви в широком смысле — к людям, своему городу, своей стране, родной культуре, и просто женской любви — к своему избраннику. Вся ее лирика — это разбитый на сотни кусков единый любовный монолог, одно несдержанное и стремительное признание. Жажда любви переполняла ее, казалось,

она не знала, куда с ней деться, в кого перелить, на кого направить ее излучения.

Сегодня вновь растрячено души
На сотни лет...

Огромный запас любви и желание отдавать, отдавать его безрасчетно, быть может, главная несомненная мудрость ее стихов.

— Все роздано: влачащимся — полет,
трусливым и безгласным — дерзновенье,
и тем, кто всех глумливей осмеет,
глубинный жемчуг сердца — умиление.

Это не значит, что она не умела презирать, Берггольц охотно бы простила заблуждение, памятуя, как легко обольщалась и заблуждалась она сама, но в ней была прямо-таки яростная, спазматическая ненависть к фальши. Казалось, она своими руками могла задушить фальшивившего человека. Когда она встречала литератора, совершившего когда-то предательство по отношению к одному из ее друзей, в глазах ее полыхали опасные молнии. Она могла превратиться в валькирию, теряла уравновешенность вялого приличия и способна была на эксцентрические поступки: спустить с лестницы, громко, публично опозорить, обличить.

Мало сказать, что она была искренна: это была рискованная открытость, распахнутость души, делавшая ее незащищенной.

И как мне скрыть — наполовину — страсть,
Чтоб страстью быть она не перестала...

Берггольц смущала меня порой своей переменчивостью, говоря с пылающими очами о любимых своих людях: только он!

только одного его она помнила и любила всю жизнь! Но, случалось, произносила она при этом то одно, то другое имя. Во всех своих душевных движениях она была слишком женщина или, лучше сказать, вполне женщина, но это-то и красило ее больше всего. Она любила, приходя в содрогание от собственной непоследовательности и добросовестно забывая о том, кто вчера еще казался ей единственным в мире. Но проходили годы, и в минуты тоски и одиночества перед нею всплывало другое полузабытое лицо, и ей казалось, что это одного его она ждала и вспоминала всю жизнь.

И всегда ощущался в ней трагизм чувства, не разделенного вполне — да и могли кто-либо до конца разделить его? Это значило бы сгореть с ней в ее же огне. И напряженность ожидания отзыва, во сто крат усиленная разлукой — разлукой беспредельной, зависевшей не от одной переменчивости сердца. Разлукой вечной — как разлука с Корниловым, разлука с Молчановым.

От сердца к сердцу. Только этот путь
я выбрала себе. Он прям и страшен.

Ей нравилось подписывать свои книги и фотографии автографом: «От сердца — к сердцу...». Вот и сейчас в моей комнате смотрит на меня со стены ее молодой портрет с этой надписью. Светлые, легкие волосы, умные, прямо глядящие глаза, чуть обиженный рот и красивая, длинная кисть руки у ворота платья, будто защищающая себя...

От природы Ольга не предназначена была стать лицом трагедии. И уголки губ не опущены у нее вниз, как у трагической маски. Девочка за Невской заставой была существом легким, веселым. Да и в ту позднюю пору, что я ее знал, она временами беззаботно смеялась, охотно откликалась на шутку. Но когда разговор касался чего-то давнего, выстраданного, губы ее строго сжимались, она смотрела на тебя с требовательной печалью,

будто взывала к восстановлению неведомо когда и кем порушенной справедливости и выбрасывала слова отрывисто, резко: так говорят перед расставанием, в последнем объяснении, в сухом горе. В эти минуты, казалось, она тщетно пытается замаскировать подчеркнутой резкостью и четкостью готовые накипеть слезы. И словно въявшая возникала перед тобой окровавленная душа, которую не однажды равнодушно переехала тяжко груженная телега жизни».

«Ленинские искры»

Я очень глубоко верила в Бога, в силу молитвы, и светлый, горячий восторг, который нередко охватывал меня в церкви на богослужениях, помню до сих пор...

В своей автобиографии (1952 г.) Берггольц писала:

«Я родилась в 1910 г. и начинаю помнить себя и окружающий меня мир – очень рано. Помню, как ездила с бабкой к отцу и матери в Дерпт, где отец заканчивал образование на медицинском факультете. Это было еще до первой империалистической войны. Значит, мне было три года, а я помню даже, как родилась младшая сестра, – она моложе меня на два года. Родилась здоровой, вскармливала же меня не мать, а кормилица. Мать, родив меня, была долго и тяжело больна. Раннее детство проходит в доме деда и бабки по отцу. Дед (обрусевший латыш) – очень мягок, добр, трудолюбив и честен. Бабка, которую в 1914 году разбил паралич – отнялась правая половина, – все же, ковыляя и опираясь на палку, властвовала над всем домом, вела хозяйство, все деньги были у нее. Былаластна, вспыльчива, капризна, совмещала в себе сквернность со свойством широко размахнуться – закатить (особенно напоказ «для гостей») какой-нибудь необыкновенный праздник, совершенно не умела лгать, притворяться, а была «вся наружу». Очень не любила мою мать, человека очень кроткого, необыкновенно сентиментального, и как-то всегда, хотя и невольно, театрализованного, любящего ощущать себя несправедливо обиженной, страдающей – последнее поняла я, конечно, гораздо позднее. Меня бабка и дед очень любили, я была «дедушкина и бабушкина», а Муся (младшая сестра) – «маминой». Жили мы вообще очень скромно, подарки были событием. Дед работал кем-то вроде завхоза на фабрике. В том же доме, в первом этаже жила семья мамы, – ее мать, вторая моя бабка, два дяди и пять

теток – «барышень». Впрочем, почти все они работали мелкими служащими. Была у нас в семье прислуга, она же наша нянька Авдотья, человек очень важный в детстве. Я ее очень любила. Все домашние были религиозны, свято соблюдали обряды, мать вносила в это элементы экзальтации. Я очень глубоко верила в Бога, в силу молитвы, и светлый, горячий восторг, который нередко охватывал меня в церкви на богослужениях, помню до сих пор. Говела и исповедовалась я в первый раз с трепетом необычайным. Когда в начале 1918 г. мать, я и сестра переселились из Петрограда в древний, полный чудесных церквей город Углич, – сама поэзия города и то, что по ордеру Горкоммуны мы жили в келье старинного монастыря, и школа, где я начала учиться, была размещена в этом же монастыре, – все это невольно питало и культивировало религиозное чувство. Забегая вперед скажу, что разрыв с религией, с верой в Бога для меня был (это было, когда мне стало лет четырнадцать) процессом сложным, мучительным, острым, несмотря на то, что на смену этой детской вере шло другое мироощущение, более могучее и определенное, это было перед тем, как я вступила в кандидаты и затем в члены комсомола. <...>

В начале 1921 года отец отвоевался – уже на гражданской, в Красной Армии, и перевез нас из Углича в Петроград, за родную Невскую заставу, и мы опять стали жить все вместе, с дедушкой, бабушкой и «нижней квартирой» – тетками и второй бабкой. Я уже ходила в пятый класс. Время и школа все более властно начинали брать свое. Атмосфера в семье была тяжелой: бабкассорилась с матерью, отец изрядно выпивал, мама часто говорила нам, что она «тяжко страдает», материально мы жили «в обрез», – хотя последнее меня как-то не угнетало, мы – дети уже в Угличе работали на огородах, голодали, так что не то что какая-нибудь роскошь, обычный полный достаток нам был просто неизвестен.

Я училась очень хорошо, звание – хоть и не официальное – «первой ученицы» мне крайне льстило, и я старалась его никому не уступать. Учение мне давалось легко, я не была «зубрилой». Учителя меня выделяли (как говорила выше, я была порядочной

«выскочкой»), тем не менее, отношения со сверстниками у меня были хорошие, ровные, а с некоторыми девочками я дружила очень сердечно, и если мои близкие подруги вдруг начинали дружить с другими, я страшно огорчалась, переживала, короче говоря, ревновала их».

Религиозные переживания юной Оли отражались в ее дневнике.

Так, 10 мая 1923 г. Советская Россия проводила очередной «воскресник» по вскрытию мощей святых.

В дневнике у отроковицы Оли записано: «Итак, свершилось!!! Свершилось это кощунство, это злодеяние, свершился этот поступок, который во всей вселенной, во всем безграничии не свершился еще... и мы, русские люди, мы, гордящиеся своей любовью к родине, своим патриотизмом, мы, отражавшие и низложившие Наполеона, мы, сильный смелый народ — мы могли допустить этот позор, это поругательство над нашими святынями! Мы допустили, чтобы наши святые церкви ограбили, разорили, поругались над святыми мощами, мы потерпели все это. Мы молчали, и молча помогали обирать св. храмы, мы отдавали все это сами — мы, православные христиане, славящиеся своим благочестием!!! И теперь... наших царей вскрывают, поругивают, а мы... Молчим. Что же? Мы, вероятно, будем молчать до тех пор, пока нас не будут расстреливать так, за здорово живешь...»

Поразительные и печальные строки. При желании здесь можно найти и предвидение 37-го года и своей собственной судьбы в том числе.

Как могли прийти в голову 13-летнему ребенку такие мысли? Но сам факт того, что этот монолог занесен в дневник, весьма знаменателен. Только человек, искренне верующий, мог отразить поругание святынь в своем дневнике и при том от первого лица.

Вот еще некоторые выдержки из документов и дневников тех лет, которые показывают, что Оля Берггольц никак не была предрасположена к комсомолии, но жила как обыкновенная гимналистка 10-х годов.

Письмо дяде Шуре из Углича о переходе на новую орографию:

«...пишу на новой типографии! Могу объявить тебе ту печальную новость, что *родной язык* для меня потерян! Я бы и не стала учиться по-новому, но издан такой декрет, чтобы все люди писали по-таковски. Уж и книги теперь напечатаны и газеты по-новому. Оревуар, милая старая типография».

Письмо матери от 29 июля, воскресенье (после 1918 г.):

«Моя дорогая мамочка!

С праздником! Сегодня воскресенье: в церкви я не была, потому что мы проспали, но вчера вечером была. Знаешь, мамочка, у меня теперь появилось новое чувство; когда священник становится на колени и говорит: «Слава Тебе, показавшему нам свет!», меня пронизывает какой-то трепет и хочется плакать, молиться и ничего не видеть и не слышать...»

Еще раз перелистаем страницы дневника за 1923 год.

Кумиром Ольги являлся в это время являлся Надсон, которому она посвятила свое стихотворение.

10 мая Ольга получила за частные уроки «первую зарплату» в виде «прелестной, толстой тетради для рисования».

11 мая была в кинематографе, шла драма «На ложе любви и смерти». Драма, как и все глубокие, поражающие вещи, сильно... потрясла меня, а вместе с ней и возникли новые вопросы: ...1) В чем состоит таинство любви? 2) Для чего лучше всего страданье?»

19 мая арестовали учителя истории.

27 мая была аттестована со следующими отметками:

Русский, французский, немецкий, анатомия, геометрия, география — хорошо; арифметика — удовлетворительно; история — не аттестована (т.к. учитель был арестован).

9 июня учитель истории был освобожден. Вместе с классом Ольга встречала его, вручив поэму и букет сирени.

Упоминает о Дмитрии Васильевиче, учителе и первом критике ее стихов.

30 июня

«Сегодня я и Валя были в часовне Скорбящей Божьей Матери: ах, какое благоговейное чувство охватило меня, когда я взошла в темную часовенку, освещенную красными лампадами, где свершилось чудо! <...>

Я горячо, нет, страстно, да, истинно страстно молилась. Я вся трепетала, когда, стоя на коленях перед Небесной Владычицей, я молила её о здоровье моей дорогой матери».

21 июля

Описание церкви в деревне Матвейково на Новгородчине.

«В этой простенькой милой церковке невольно молилось, отрадное чувство охватывало тебя! «И верится, и плачется, и так легко, легко!...» Везде была живопись — ни одной ризы на иконах; стены — белые, внизу серая панель. Служил опять священник, тот, древний <который ранее служил панихиду; на ней присутствовала Берггольц — авт.>; тихо раздавался его голос, звучно и громко читал Евангелие псаломщик... Я горячо молилась... за всех, а главное за моих дорогих родных. Обедня кончилась, истово перекрестившись и приложившись к Кресту, крестьяне вышли из церкви. Выходя, я бросила прощальный взгляд на храм и подумала: «Хорошо, если бы в душе каждого человека была такая церковка!»

В августе юная литераторша Оля устроила «некрасовский вечер» в деревне — с чтением стихов «Страда», «У бурмистра Власа» и постановкой пьесы про солдатскую мать.

Любовалась крестьянами без их идеализации:

24 авг. <о крестьянах> ...как красивы они во время работы; работа... — их стихия. Они так быстры и ловки... Особенно женщины; здесь ярко выражается их природная грация и сила».

Приготовления к празднику св. Тихона.

«...завтра праздник св. Тихона — престольный праздник.

Мужики уж за неделю вперед стали гнать самогонку, бабы усиленно ходили за ягодами: стирали, мыли избы, прибиравались как к Пасхе, парили ягоды — вообще, готовились вовсю, чтобы

отличиться завтра. Впрочем, я с трепетом жду завтрашнего дня: перепьются все пьяные, того и гляди подожгут деревню или убьют кого на смерть. Да, страшно...»

В дневниках за 1924 год появляются новые мотивы:

21 марта

В школьном драмкружке готовилась инсценировка Ольги – «Вечер сказки» для подшефных солдат. Выступление приняли с энтузиазмом.

Готовила школьный выпускной концерт о Пушкине.

2 июня

«...сейчас мальчишки сидят, смотрят историю искусств, смеются и сальничают над нагими женскими фигурами. Мне говорят, что «тут ничего нет, это с натуры», а у самих сильным огнем поблескивают глаза. И говорят каким-то особенным сильным голосом. Гнусные мальчишки! Скотины низменные! Будущие самцы! Сильные, низкие самцы. Нет для них ничего чистого, непорочного... И девки наши тоже сидят, хихикают, я храню маску непроницаемости. Гнусно! Гнусно!»

Рано проявились не только наблюдательность, но и языковая способность. Ольга могла изысканно ругаться. Отзыв о подруге Вале (из дневника): «Пигалица пигалицей, глиста какая-то, сука рваная! Черт – чертиха, воображалка. Драная селедка!»

Далее в дневнике наклейка из стихотворения поэта Серебряного Века Дмитрия Цензора «Ляля» («У Ляли моей васильковые глазки...») – вероятно, отсюда родилось самоназвание Бергтолец – Ляля (так ее называли и близкие).

Мечтает стать авиатором, когда ей грустно (а это бывает часто). Маленькой девочке хотелось летать!

Читала «Жизнь Тарханова» писателя-народовольца Е.Н. Чирикова – хотела быть как верная, любящая Зоя.

7 июля (на даче)

«У нас в доме – ни копейки. Ужас. Кругом должны. Буквально нет ни копейки».

18 июля

«...мы питаемся хуже, чем в Питере! Молоко, хлеб, ягоды, да иногда мама напечет белых колобушек. А денег все нет и нет! И вот сегодня мама стала писать в Питер письмо, не папе, а старикам, где просила их сказать папе, что в каком мы положении. Первый раз в 15 лет замужества она обращалась к старикам, чтобы они «сказали Феде». Письмо пойдет без марки — нет денег на марку...

Прав был дед, говоря, что в деревне мы будем голодать... Наше положение трагическое...»

Далее — ропот на Бога:

«Эх, Ты, что все видишь и слышишь, видишь ли Ты это. И чем наградишь нашу дорогую самоотверженную мать?»

24 июля «имянины» (память равноапостольной княгини Ольги).

Мать испекла земляничный дивный пирог, взяли в кредит яиц, сахару, крупы; мама сделала бэзэ; именины отпраздновали на поляне «во главе с самоваром».

Тогда же появляются стихи с картинами родной природы.

23 окт.

Играли в «свадьбу». Ольга «была попом».

Толчком для вступления в комсомол для Ольги Берггольц стала смерть Ленина. Вот как она описывает это в «Дневных звездах»:

«Мы повзрослели и возмужали сразу на несколько лет в тот жестоко морозный день, когда засугробленная, заиндевевшая рабочая окраина, Невская застава, рыдала над Ильичем всеми гудками всех своих чугунолитейных заводов, всех своих прядильно-ткацких фабрик — тех, что встали за ним, тех, что шли за ним в семнадцатом году, — захлебывалась гулкими прерывистыми гудками паровозов. Она голосила, как русская вдова или мать, потерявшая сына, она рыдала в голос безоглядно, самозабвенно, долго-долго — осиротевшая, бревенчатая и дощатая, заваленная вечереющим снегом Невская застава.

До сих пор оттуда, из-за тридцати пяти лет, слышу я этот неповторимый траурный гул. Наверно, в городе, где были кон-

дитерские с пирожными и гуляли по Невскому нэпманы, не так все было слышно, как у нас за Невской, — ведь тут фабрики и заводы стояли рядом, бок о бок. Они загудели совсем иначе, чем гудели каждое утро — каждый гудок по очереди, один за другим, — они загудели как-то все сразу, хотя сначала я различала могучий гудок Семянниковского и высокий голос дедушкиной фабрики, но потом все слилось в сплошное гудение. Мы с подругой Валей стояли на самой середине нашего двора, засыпанного снегом, а траурный гул становился все громче и громче, и вдруг стало мне казаться, что грудь разверзается, хлещет туда ледяной воздух, и уже нечем дышать, и я как будто тоже стала вся гудеть, исчезать и подниматься ввысь, куда тянуло, как в гигантскую трубу, меня, наш двор, сугробы, сарайчик — все на земле...

«Да. Это на всей земле. Все гудят. А люди стоят. Как мы с Валей: не шевелясь», — и вновь, как на волжском вокзале по дороге в Петроград, я ощущала, что меня отдельно нет: есть что-то огромное, что неистово, изо всех сил, кричит от горя, и я вся — только этот общий всепоглощающий вопль. Есть всеобщее оцепенение — и я цепенею, слитно со всеми. Мы — один кусок льда. Но вопль этот, это всеобщее оцепенение — ведь это же вызов всему миру. Да, вызов. Потому что заставское дыхание достигло такой силы, что звучало уже как угроза, — нет, как торжество.

И трагедийный гул длился долго, казалось, очень долго и затих постепенно, только еще целые полминуты пронзительно всхлипывала какая-то «кукушка» на ближнем заводе, но вот и она замолкла, и абсолютная тишина рухнула на вечеревший наш дворик и оглушила нас с Валей. Мы продолжали стоять все так же неподвижно, навытяжку и молчали. Долго молчали...

— Валя, — наконец сказала я, — я вступлю в комсомол. Немедленно. Мне не хватает лет, но я упрощу... Бабушка против из-за бога, а мама из-за мальчишек. Но я все равно вступлю.

— Я тоже, — негромко отозвалась черненькая худенькая Валя Балкина...

... Мы говорили, все еще стоя неподвижно, навытяжку.

— Валя, я должна открыть тебе страшную тайну. Я уже довольно давно не верю в бога. Знаешь, его нет.

— Знаю, — ответила Валя. — Я тоже не верю в бога и вступлю в комсомол.

— Валя, — сказала я, почти задыхаясь от странного нового счастья, — я вступлю в комсомол и буду профессиональным революционером. Я всю жизнь буду профессиональным революционером. Как Ленин.

И не тот мороз, который стоял кругом, а внутренний холод — озноб восторга, озноб самоотречения — пробежал по позвоночному столбу: не умом — всем существом, всей плотью и духом я поняла, что дала клятву, что не смогу ее нарушить, потому что с момента этой клятвы началась у меня совсем новая жизнь, и отказаться от нее — это значит перестать жить...»

Об этом же, но по-другому, Берггольц рассказала читателям в первой половине 30-х годов. В журнале «Литературный современник» было опубликовано (в первый и последний раз!) стихотворение Берггольц «Факт из биографии». В нем повествуется о том, что:

Кончалось отрочество. Понемногу
Меня учили в школе понимать
И видеть мир.
В семье страшали богом.
Велели слушаться, говеть и приседать.

Второступенка с гладенькою челкой,
Под лаской и опекой у семьи,
Я все-таки копила втихомолку
Большие обвинения свои.

Дальше в дом явилась соседка:

Дрожали руки у нее, колени
От радости. «Ну, господа, вчера
Услышаны молитвы... помер Ленин»
И крикнула семья моя: «ура!»

На утро было тихо. Очень ярко
Светило небо.
Снег был ярко-желт.
Коптилась бабка над плитою жаркой,
Отец на службу весело пошел.

Ольга же побежала на траурный митинг:

И сердце билось злобой незнакомой,
От слез и снега резало глаза...
«Ты знаешь, Валя... Я уйду из дома...
Они враги. Я не хочу назад.

Мне к осени исполнится пятнадцать,
Найду работу. Только не домой.
Наверно хватит трех рекомендаций,
Чтоб в кандидаты принял комсомол...»

Стихотворение оканчивается так:

С того – засыпанного хвоей – дня
Большая ненависть ведет меня.

В варианте главы «Дневных Звезд» («Литературная Газета», 21 апр. 1959 г.), варианте, нигде более не встречающемся – Ольга объясняет подруге Вале, почему не верит в Бога:

« – Его нет, Валя. Я это проверила.
– Как?!

— Я встала на табуретку и булавкой исколола всю митру у Николая Чудотворца, знаешь, такой страшный у бабы Маши? И со мной ничего не случилось. А они говорили — сейчас же отсохнут руки, если что позволишь с иконой... Но это было очень давно! В декабре. А теперь январь. Я теперь не верю в Бога научно. Я верю только в Ленина.

Позднее эта глава стала называться «Ленин».

В повести «Углич» Берггольц писала, что искушала Иисуса, искалывая Святой лик булавками. И с ней опять ничего не случилось!

Однако разрыв с Верой Христовой для отроковицы Ольги был не столь безболезненным и одномоментным, как это она описывает в «Дневных Звездах» — да и вряд ли был приурочен к смерти Ленина.

В письме матери и сестре от 18.04.1924 года она жалуется:

«...Довольно часто находит «гнусь», мучат вопросы о Боге. О всем — мне очень худо тогда».

Из дневника следует, что последняя ее исповедь была в марте 1924-го года, перед Великим Постом, у бывшего маминого законоучителя: «выложу всю душу», — писала она.

В июле она уже открыто ропщет на Бога; в ноябре пишет (как и в мае), что не верит в Него. Вероятнее всего, Пасха 1924-го года была последней Пасхой верующей Ольги (если она не потеряла веру Великим Постом).

Из дневника за 1924-й год.

«Апрель»

«Прочла «Овод» Войнича, овладело «дикое, невыносимое» чувство: «Демон, черт, дьявол, сатана эта книга, яд, рай, блаженство, вино — все!»

30 мая 1924 года

«...Со мной происходит что-то. В понедельник бабушка одела мне на шею деревянный крестик, и странно: как-то хорошо стало. Я и помолилась, и странно что-то: в Бога не верю, а вот!.. я теперь об этом не думаю, а в груди что-то сидит и шепчет: «А может

быть?» Нет, нет; ясно есть что-то, но что это? Сама не знаю... Может быть это Бог, может и правы попы, но... нет, я ничего не буду говорить и думать об этом. Такое впечатление, когда думаешь об этом, точно в лесу, и видишь дорожку, а войти на нее опасно: вдруг это трясина, или эта дорожка приведет к пропасти?»

В Автобиографии Берггольц сообщает о семейной реакции на её вступление в комсомол:

«Семья была настроена сугубо обывательски, мама рыдала и говорила, что не допустит, чтоб я «развращалась в комсомоле», отец говорил, что я «избегаюсь и перестану заниматься», бабушка стучала палкой и кричала, что «выгонит безбожницу из дома». В общем, говоря комсомольским жаргоном тех лет — катафасия была в семье страшная. Меня же все более угнетала атмосфера дома. Отец много пил, я скоро поняла, что мать страдает оттого, что они не ладят, что он изменяет ей. Были они, конечно, совсем неподходящей парой. Отец был жизнелюбив, обладал огромным чувством юмора (а мать лишена этого чувства абсолютно), в бабку вспыльчив и ревнив, прям и совершен но непосредственен (а мама, бедняга, все время кого-то изображала), был он влюбчив, любил женщин, вино, веселье, песни, искусство. А главное — он любил свое дело, работал не просто добросовестно, а с сердцем, был по-настоящему демократичен — ткач и ткачихи (он с 1921 г. стал работать в амбулатории ф-ки «Красный ткач») его просто обожали. <...> У матери же были только мы и он, да семейные неурядицы. Но все это я поняла много позже, тогда же отца только осуждала, томилась семейной обстановкой, всей, как сплошным «меншеством». В комсомол я все-таки вступила потихоньку, вынесла все домашние драмы из-за этого стойко, и была очень счастлива и горда, что стала комсомолкой, и была комсомолкой прямо-таки фанатичной, и в последних классах школы, и в ВУЗе, и дальше, дальше...»

В июне 1924 года иллюзии новообращенной комсомолки впервые столкнулись с суровой обыденной реальностью.

О жизни новгородских крестьян она писала следующее (в дневнике): «рабочие — баре в сравнении с крестьянами, они работают 8 часов, имеют хоть какой-нибудь заработок. Крестьяне

работают 20 часов и не имеют возможности отдохнуть, полечиться. Рабочие, заболев, могут лечь бесплатно в больницу, отправиться на курорт, в дом отдыха. А крестьяне? 50 % крестьян больны. Более всего сердечных, потом туберкулезных. Где же помочь? Где улучшение? Поэтому понятно, что крестьяне проклинают нашу власть и коммунистов. Я была очень смущена, столкнувшись с этой горькой правдой: до сих пор по газетам я думала, что все хорошо, и была горда за наше правительство. Мне было их очень жаль, и я решила написать об этом в «Красную газету».

21 октября — «самое главное» — был отчет самоуправления в работе, «был комсомолец из губкома — Гуревич, жид, но что за беда!! Идеен, горяч, справедлив — хоть папа и говорит о «них» пренебрежительно... И он сказал, что через 3 месяца, самое большое, у нас в школе будет комсомол!! Как я была рада! Как рада! Я вся дрожала, когда пела интернационал... Как я буду работать там! Какое это огромное большое дело! Какая полная, содержательная будет моя жизнь... О, скорей бы в комсомол. Скорей бы... Тысяча грез кружат меня: я вижу себя в деревне, агитирую за Советы, и т.д. О, скорей бы в комсомол...»

7 ноября Ольга ходила на демонстрацию на Поле Жертв революции (Марсово Поле), видела Зиновьева и Троцкого. В дневнике появляются заученные, трафаретно-газетные фразы: «...когда проходила мимо братских могил на поле Жертв Революции, я только здесь поняла, как велика заслуга этих павших людей, какое грандиозно-неизмеримое дело и Октябрьская революция и строительство СССР».

Появляются и агитстихи.

Начинаются споры с родными.

Об одном из них — запись в дневнике от <17 ноября>

«...у нас был с мамой политический разговор о крестьянах, мама все не давала мне высказать, и я как-то нечаянно стукнула треугольником по столу и крикнула: «Мама, да дай мне сказать!» Мама обиделась, я плакала...»

Пишет далее, что «отец лечил Троцкого. Троцкий умер...»

20 ноября

«В бога я не верю, а также и в загробную жизнь. Все это объясняется хозпричинами, и бог, и «рай» и «ад» и все. Где будет эта блаженная жизнь. Фу, как глупы эти бредни.

...Папа пришел подвыпивши, и начал говорить о том, что христианство запятнали христиане, а коммунизм — коммунисты. То же и мама подтверждает... Бедные, близорукие люди... в маминой комнате стоял галдеж — все защищали свои убеждения, и... фактически стояли за старый строй. <...> *«Мама»* сказала мне, что и при капиталистическом строе можно устроить жизнь рабочих лучше, чем сейчас, что коммунисты душат рабочих и крестьян, что частная мелкая собственность должна быть и т.д...»

<1 декабря>

«Удивляюсь я маме!..

Недавно говорили о том, что «Жизнь за царя» переделали в «жизнь за серп и молот» — она сказала, что это низко, мерзко. Я же сказала, что не вижу тут ничего худого, а мама и говорит: «Боже, Ляля, как ты низко пала!!» Это меня так возмутило и поразило, что мне хотелось закричать, затопать, наговорить грубости, но я сдержалась. Вообще, мама часто говорит несуразности, но, конечно, ее в этом нельзя винить. Она политически невежественна. Надо ее просвещать — это моя задача».

Новую веру комсомолки Берггольц ждали суровые испытания. В том числе — и сомнения тех критиков, которые в пролетарских ее творениях находили следы — гимназистки Чарской!

Мы уже приводили отзыв некоего П. Лысякова на повесть Берггольц «Углич» под названием: «Как не нужно писать о школе», опубликованный в журнале «Народный учитель», № 3 за 1934 год.

...Берггольц неоднократно публиковалась в 20-х годах в журнале «Юный Пролетарий». Любопытно, попалась ли ей на глаза рецензия корреспондента «Юного Пролетария» (№ 8, апрель

1928 года), который писал о христианском календаре евангелистов на 1927 год следующее: 7 ноября, т.е. день десятилетия Октябрьской революции, этот «симпатичный календарь комментировал» таким изречением: «Все поспешно пускающиеся в путь, в который они выше не посланы, рано или поздно кончат падением и возвращением снова к тому, что, по их уверениям, они раз навсегда оставили».

В этом комментарии – и будущее Советской власти, и самой Ольги Берггольц.

Впрочем, у нее было особенное мнение о своем завтрашнем дне.

Враг народа

Думала ли юная комсомолка Берггольц, чем обернется ее беззаветная любовь к коммунизму?

В 1937 году был арестован и тогда же, в августе, расстрелян литературный покровитель Берггольц Леонид Авербах. Годом ранее скончался другой ее наставник – Горький Максим. Связь с Авербахом стала причиной травли Берггольц в литературных кругах Ленинграда. «Литературная газета» за 10 мая 37-го года в статье «На собрании партгруппы Ленинградской Организации Союза Писателей» сообщала устами некоего П. Ромова:

«В свете весьма неприглядном предстала перед партгруппой Ольга Берггольц. К ответственному и важнейшему делу разоблачения врагов народа Ольга Берггольц подошла с развязной легкостью. Она лепетала нечто маловразумительное о том, что ее «связь с Авербахом была только лишь личной связью» и что вообще «личная связь с Авербахом не может порочить ее имени, как партийца».

Это циничное заявление возмутило собрание, которое ждало от Берггольц честного рассказа о том, какими методами осуществлял Авербах свою борьбу против линии партии. Когда по требованию собрания Берггольц вынуждена была выступить вторично, то ее «откровения» вызвали новое возмущение. Она

даже не пыталась дать политическую оценку авербаховщине; и на этот раз она не сказала ни слова о механике предательской работы Авербаха и методах его подрывной работы.

Когда собрание категорически предложило рассказать об ошибках Добина, с которым Берггольц работала рука об руку в пресловутой газете «Литературный Ленинград», и об ошибках этой газеты, то Берггольц неожиданно «вспомнила» такие, по мнению самой Берггольц, «мелочи», умалчивание о которых заставило партгруппу немедленно же, независимо от всего прочего, поставить вопрос о партийности Берггольц».

В той же газете (номером позднее) некий ВИЧ клеймил Берггольц как представительницу рапповщины в детской литературе, а ее заслуги в таковой были названы мнимыми. Он же в заметке «Литературный Ленинград» (№ 26 (662) от 15 мая 1937 г.) писал:

«Представителем рапповщины в детской литературе была О. Берггольц. Но на собрании она предпочла говорить о своих мнимых заслугах в детской литературе. Даже свои статьи в «Литературном Ленинграде», осужденные общественностью и комсомольской печатью, статьи, в которых явственно звучало рапповское заущение, О. Берггольц склонна считать, при частных ошибках, «в основном полезными». Очень туманно и завуалировано говорила она также о своих связях с Авербахом и его присными».

Не дождавшись покаяния Бергольц, ее исключили из Союза Писателей (ЛГ от сообщила об этом 20.5.37 г.), а затем и из партии.

Берггольц писала сестре:

«Дорогая Муська!

Вчера партком «Электросилы» исключил меня из партии.

Формулировка примерно такая: «За связь с врагами народа Авербахом и Макарьевым, за то, что работая в газете «Литературный Ленинград», противодействовала разоблачению врагов

народа Горелова, Майтеля, за то, что не проявила себя как коммунистка в бытовом отношении, за неискреннее поведение на партсобраниях».

[...]

Брыкин^{*} и другие охарактеризовали меня, как «пронырливую, очень хитрую бабу – карьеристку» [...]

Я не только «циничная карьеристка», но «абсолютно разложившийся в быту» человек: «я жила с двумя десятками людей, это по крайней мере, и все они – враги народа или около того».

[...]

... Я оказалась карьеристкой, разложенкой, почти блядью.

[...]

И что же в конце концов? Разложенка, карьеристка, «пронырливая хитрая баба», чуть ли не двурушница на работе в газете – значит, что же – завод? Завод – это ширмы, маскировка, опять же способ пробраться в партию, «спекуляция на электросиловском имени». [...]

Я, наверное, выступала плохо. Я вообще в буквальном смысле едва стояла на ногах. [...]

О, я бы под землю куда-нибудь спряталась, зарылась бы».

В Автобиографии Берггольц так написала об этом:

«... стали по инициативе некоторых товарищ из Союза Писателей исключать из Союза Писателей и партии за «связь с врагом народа». Был один такой тип, бывший крупный литературный работник, который в 1931 г. назойливо ухаживал за мной, громко афишировал свои чувства, на виду у всех «страдал». И с которым с 1932 г. просто не виделась и не переписывалась. Были и другие, столь же нелепые «обвинения».

В общем, в начале 1937 г. меня отовсюду исключили, – из Союза, из профсоюза, из комсомола, из партии, – исключили

* Брыкин Н.А. (1895-1979), советский писатель. Арестован в 1949-м году. Реабилитирован в 1954-м.

несправедливо. Подлейшей грязью залили с головой, — особенно старались товарищи из Союза Писателей — именно те, которым не повезло в их претензиях на мое специфическое внимание. Они обвиняли в «бытовом разложении».

Я шла в партию с детства, путем прямым и честным, исключение меня из партии было для меня более, чем ударом. Но мы с Колей твердо верили в справедливость. Я не запила с горя, рук не сложила, стала работать в школе, преподавала в 5-х и 6-х классах русский язык и литературу. Учителя относились ко мне очень сердечно, дети вскоре полюбили, и я их тоже. Дело мое тянулось бесконечно долго».

В дневниках этого периода читаем:

7/1 – 38

<О своей работе в школе>

Я ничего не знаю в области русского языка, ничего не умею. Ничего у меня нет, кроме превыспренных намерений. Это факт.

На парткоме (об исключении) Берггольц сказала:

«товарищи, вы сейчас будете решать вопрос моей жизни», на что, Решетов, усмехнувшись, сказал: «товарищи, тут Берггольц припугнула вас самоубийством — вы не обращайте внимания на это...» Брыкин обвинил ее в шпионаже. Берггольц написала заявление о издевательской системе Мирошниченко и Ко.

<О делах писательских>

Школа есть адюльтер по отношению к роману — и шире — к писательству.

22/1 – 38

Дурнею и старею каждый день. Чувствую, что наступает какое-то неблагополучие с сердцем. И когда его тянет — тут же думаю, как страдала Ирочка, и снова разверзается под ногами пропасть, и то чувство, которое никак не передашь, овладевает с чудовищной силой... чувство удушья, смертного спокойствия, становление на

грань безумия, да, вероятно, безумия... или прозрения. И реально в жизни только это. Да еще припадки Коли (8 и 12/1 и 26/1). Я думаю: ну хорошо, я подожду, пока он погибнет или сойдет с ума, а там — все... Остальное может быть и может не быть...

Далее Берггольц сообщает, что Ваня Круль, обвинявший её в Союзе Писателей в «двурушничестве», был арестован сам, в связи с чем она испытала «глубочайшее удовлетворение».

Апеллирует в ЦК о восстановлении в партии.

10/2 - 38

«Ничем никогда не попрекала страну: ни голодовкой и болезнями в Казахстане, ни изнуряющими, злящими нехватками все время, все время, ничем. А этим, этой санкцией, всей этой вакханией исключений, унижений и калечений — душа попрекает, несмотря на то, что спохватились... и бередящий ропот ничем не заглушить».

20/II - 38

«Возвращаясь из школы, встретила на углу Юрку Германа и Сережу Герасимова. Какие они сытые, самодовольные, благополучные, равнодушные ко мне и чужие мне! Юрка посмеялся — узнав, что я восстановлена в комсомоле: «Нашу старушку Олю восстановили в комсомоле!» И сразу у меня взмыло внутри: сучка, что ты знаешь о комсомоле, о том, что он есть, что он был для меня!! Я, я одна имею право быть недовольной комсомолом, подтрунивать над ним (не с тобой и подобными тебе!), ругаться, потому что, в каком бы глуповатом положении не находился комсомол — я — его плоть и хозяин.

Кроме того, Юрка и Сережа вызвали во мне чувство раздражения, неприязни и позорной зависти (или чего-то похожего на зависть), тем, как уверенно, «по-господски» они держатся. Они работают в искусстве, в области, от которой я отторгнута, они чувствуют себя там хозяевами, они снисходительно смотрят на меня и снисходительно спрашивают — «как твои дела?» Зачем это — зависть или похоже на зависть? Разве я не лучше их, и разве жизнь моя — не благородней их?

Познал я глас иных желаний,

Познал я новую печаль...

Или – для первых нет мне упований,

А старой мне печали жаль?

Неужели эти месяцы не уничтожили во мне мелкого тщеславишка? Неужели все, что мне надо – это победоносно, будучи «интересной», прийти в дом писателя, сыграть на биллиарде, поужинать, чтобы *внешне* продемонстрировать что-то? Или внешне нужно потому, что знаю – то, что родилось внутри – не продемонстрируешь? Но для чего же мне нужна демонстрация? Зачем же обязательно демонстрировать? Ведь это значит – предательски разменять то, что в огне этих 10 месяцев выплавилось внутри. <...>

Все – тлен».

24/II – 38

Была у Хмары <по поводу исключения из СП> в Смольном.

«Он говорил со мной очень «чутко», но и сама эта чуткость показалась мне официальной». Разговор ничего не дал. Сволочь (чл. СП) – Гришко, Князев, Решетов и пр., ничего общего с искусством не имеющая и вредящая ему.

Держалась я безобразно – меня трясло (нервы – ни к черту), говорила каким-то не тем тоном, не сказала, что парторган Союза – гавно, что они сволочи – не сумела доказать это».

4/IV – 38

«...Состояние страшное. Все время душат слезы, жалко себя... <...> А то вдруг охватывает смертельная усталость и я думаю – «наплевать!» И горечь, и желчь начинают душить, и точно идешь куда-то ко дну...»

17/ IV

«Тоска, тоска... <...> Сознание бренности жизни все копится, а молодости уже почти не осталось...

А там и смерть».

«Злейшее состояние. <...> ...как я не люблю людышек. <...>
Все неясно, все обрыдло до отвращения...»

В режиссерском сценарии «Дневных звезд», (1965 год), в сцене посещения зоопарка с отцом есть дописка Берггольц (выделена курсивом): «если слон найдет мой гривенник <...>, все будет хорошо, меня восстановят в партии».

Немудрено, что это беспокоило ее: в то время быть в партии означало быть полноценным членом общества, перед которым открывались все дороги для карьерного роста в любой области; и кроме того, в обстановке массовых репрессий партийность означала некую иллюзию неприкасаемости. Можно сказать, что борьбу за реабилитацию Берггольц выиграла — ее не только восстановили в партии — но и перед этим повторно приняли в комсомол!

В письме к Ю. Либединскому* от 14.4.38 г. она сообщала:

«...восстановили кандидатом партии без каких-либо взысканий.

К 20 июня все закончено со школой, в смысле испытаний. Экзамены по моим предметам прошли очень неплохо, а к примеру, по литературе — уст. и письм. — прямо можно сказать — блестяще. ...при очень строгих и больших требованиях — в классах было по 10-15 отлично, и 1-2 плохих, а в одном совсем без «плохо»...<...>

Очень хочу на будущий год вести 8 класс, но уговаривают взять три — мой — 7 и 8-ой...

За партийной реабилитацией последовала и реабилитация писательская.

* О нем же есть запись в дневнике Берггольц за 4/1 - 38: «Либединский и Чумандрин — вредная сволочь». Либединский Ю.Н. (1898-1959), советский писатель. Чумандрин М.Ф. (1905-1940), советский писатель, один из руководителей РАПП. О нем мы еще вспомним.

«Литературная газета» от 5 июля 1938 года сообщала:

«Правление Лен. ССП рассмотрело заявления Е. Добина, О. Бергольц и Л. Левина о восстановлении их в союзе советских писателей.

Правление постановило восстановить Е. Добина, О. Бергольц и Л. Левина в членстве союза советских писателей».

Бергольц писала матери 8.VIII.38 года:

«Милая мама!

О моем восстановлении в Литературной газете ты уже, вероятно, прочла, но постановление опубликовано не верно: правление вынесло резолюцию: «восстановить, т.к. мотивы исключения (связь с врагами народа) не обоснованы, — т.е. повторила формулировку Ц.К. Настаиваю перед Литгазетой, чтоб постановление было опубликовано полностью — думаю, что напечатают. В «Красной газете» было опубликовано полностью, и я приняла кучу визитов и поздравлений, многие из которых меня раздражили...

В общем, я буду стараться забыть эту гнусную историю, которая стоила мне такой затраты душевных сил — бессмысленной затраты. После подъема первых дней после восстановления — чувствую себя совершенно выкачанной, полубольной.

Злюсь и раздражаюсь на все окружающее. В частности, очень злит то обстоятельство, что ты все еще торчишь в Москве. Очень неприятно, что не могу выслать тебе денег, но поверь, что просто ничего не выходит, за квартиру должны за 3 месяца, надо платить взносы за год в партию, в Союз (пока не плачу), а аванс, который надеялась получить — не выходит, т.к. повесть принятия, но когда вы^{<идет>} — в этом году, или в начале того — неизвестно.

У Коли припадков больших нет, но заговаривается все время, ночью просто уж сил нет».

Ей же в письме за сентябрь 38 года Ольга сообщала:

«Дорогая мама!

<...> сижу в райкоме, получила партдокумент, теперь жду талона на прикрепление. Завтра уплачу взносы, получу нагрузки — начну нормальное партийное существование».

В Автобиографии поэтессы читаем:

«Только в середине 1938 года Центральный Комитет Партии восстановил меня в рядах партии, признав все обвинения клеветническими и даже рекомендую мне привлечь клеветников к ответственности. Я не стала этого делать из брезгливости, от усталости. К этому времени Николай блестяще защитил диссертацию и получил звание кандидата филологических наук. Много работал над научными статьями, работал в Публичной библиотеке, усиленно лечился, припадки стали реже».

Кажется, можно было праздновать победу...

«Но не успели мы отдохнуться от четырех лет сплошного горя, сблизивших нас нераздельно, — читаем далее в Автобиографии, — как в конце 1938 года меня арестовали. Я попала в тюрьму беременной. Комсомольская организация, в которой состоял Николай и которая собиралась переводить его в партию, категорически потребовала, чтобы он «порвал связь со мной», признал меня «врагом народа», не делал мне передач и т. д., иначе — исключение. Он ответил на их предложения: — «Это недостойно мужчины», положил на стол свой комсомольский билет и вышел.

Я пробыла в тюрьме под следствием 197 дней и ночей.

Там на пятом месяце беременности у меня был выкидыш».

В литературном сценарии «Дневных звезд» есть сцена о тюрьме (которая в фильм не вошла):

«...В бездонное мартовское небо в рваных стремительных облаках плавно поднимаются волны вальса из к/ф «Цирк».

Играет духовой оркестр. Сизые от холода музыканты, одетые в сине-серую ежовскую форму, стоят на талом снегу, посреди тюремного двора.

Месяя ногами мокрый снег, Ольга, в сопровождении двух надзирателей, идет по двору, прижимая узелок к заметно обозначившемуся животу.

Лица надзирателей непроницаемы, исполнены важности выполняемого дела.

Бесчисленные слепые, заколоченные деревянными щитами, окна камер смотрят угрюмо и безучастно.

...Ее ведут длинным коридором-галереей, окружающей со всех сторон лестничный пролет, затянутый плотной сеткой, чтобы не бросились вниз.

Бесконечные двери, двери... Железные, закрытые на внутренние замки.

Гремя засовом, надзиратель открывает дверь и вталкивает Ольгу в камеру. Дверь захлопывается.

Огромная камера переполненная женщинами.

Ольгу окружают, забрасывают вопросами:

— Когда взяли?

— Что на воле?

— По какой статье? В чем обвиняют?

Растерянная Ольга не успевает ответить, как к ней протискивается худая, совсем седая женщина с папиросой в зубах.

— Коршунова, — протягивает она руку Ольге. — Как Мадрид?

Ольга жмет её руку:

— Мадрид пал...

<...>

...Ольга сидит на нарах и смотрит на узкую полоску неба над деревянным щитом в окне. Там шумно возятся жирные, наглые голуби.

— Вы должны быть осторожней, — доверительно шепчет в ухо Ольге соседка; мрачная, фанатичная женщина. — Неизвестно, кто здесь настоящий враг, а кто сидит по ошибке, как мы... Измена, страшная измена проникла во все звенья нашего партийного и государственного аппарата... Классовая борьба обостряется и враги народа активизируются...

Изменниками оказались многие секретари Крайкомов, ЦК компартий: Постышев, Эйхе. Видные военные: Тухачевский, Гамарник, Якир... Писатели: Кольцов...

— А что, если не все изменили одному, а ОН изменил всем?..

Соседка гневно отшатывается:

— Как вы можете...»

Ввиду недоступности уголовного дела Берггольц (№ 58120 от 1938 г.) ограничимся краткими справками.

Берггольц была арестована УНКВД по ЛО 14 декабря 38 г. (ордер на арест № 11/046 от 13 дек. 38 г.). Содержалась во внутренней тюрьме УГБ при УНКВД ЛО. С 8 по 10 апреля 39 г. находилась во внутренней тюремной больнице (причина не указана), откуда была направлена в областную больницу для составления заключения. Возвращена 22 апреля 1939 г. 3 июля 39 г. из-под стражи освобождена за недоказанностью состава преступления.

По мнению Берггольц, ее оговорили 6 человек: в том числе Игорь Франческа и Ленька Анк.

«Я вышла из тюрьмы в связи с тем, что следствие было прекращено за полной нелепостью чудовищных предъявленных мне обвинений, — писала Берггольц в Автобиографии. — Партийный билет мне отдали в райкоме на другой же день, через несколько дней я вновь стала работать как пропагандист на той же «Электросиле». Но за время моего отсутствия страшно пошатнулось здоровье Николая. <...>

После отсидки я писала исключительно для детей, эти рассказы и повести ребятам нравились, я много общалась с ними. Общаться со взрослыми, кроме близких людей, мне было трудно, приступы острой человекобоязни сменялись неодолимой жаждой «выговориться», а это уже было совсем ни к чему. Не пила — из гордости: «не заставите запить!»

Пролистаем документы того, «послеотсидочного» времени.

Из письма сестре 12/X-39 г.:

«Мусичка!

Скоро 3 ночи, надо править брошюру, но я должна написать тебе. (Я не могла писать, т.к. райком поручил мне написать брошюру к выборам в местн. Советы — прошлое, настоящее и будущее Моск. р-на; «бригада» у меня аховая, срок 10 дней, завтра все сдать,

и сидела, передела с утра до ночи. Кажется, получилось. Это — для агитаторов и широких масс трудящихся — в общем, для честных людей, поэтому старалась и даже о счастливой жизни получилось прилично. О, Господи, это все — *правда*, достижения невероятные — если б не было этих проклятых двух последних лет!»

Дневниковые записи:

29/10 — 39 г.:

Была на открытии Дома Писателя. Меня встречали приветливо, но ни приятелей, ни хороших знакомых, ни тем более друзей — у меня там нет никого. Дело даже не в том, что никто не пригласил за столик, дело в том, что сердце никому не радовалось. Почти все казались какими-то самодовольными. Вероятно, я не права, может быть слишком много о себе думаю, слишком переоцениваю свой опыт. Но среды — нет. <...>

И никто не дорог, ни к кому — конкретно — не тянет. Лишь бледная мечта о том, чтобы найти пару-другую единомышленников, друзей, с которыми можно было бы вместе что-то утверждать в области искусства. Но опять-таки, конкретно, таких людей не вижу.

10/11 — 39

<...> Партию перевело в члены партии. Переводили хорошо, рекомендации хорошие. Но грызет одно сознание: ну хорошо, а если вдруг опять братья-писатели начнут какую-нибудь травлю — что ж, вы опять будете голосовать за исключение, и рукоплескать и говорить «двурушница?» Жаль, что нельзя спросить их об этом. Почему нельзя? Ведь это моя партия, с которой я должна бы была быть на духу... Но — я знаю, что нельзя, что бессмысленно — эти вопросы не обсуждаются. Почему? И как горько это!

О-ох, трудно, трудно жить с таким желанием полной правды, полной безбоязненности, полной откровенности и сознанием непонятной невозможности её... <...>

Стукач Рождественский выдумывает сотни демагогических и дурацких мотивов — и не берет стихи в «Звезду». Вот взять бы и

сказать ему: «А я знаю, как ты на лучшего твоего друга на очной ставке и в суде – капал! А я знаю, что ты доносы писал на лучшего русского писателя – М. Зощенко! А я знаю, что ты в свое время антисоветские стишкы писал – потому потом и обосрался от страха! У, ненавижу гада...»

6/12 – 39

<о репрессиях>

Сердце горит.

И поговоришь об этом с людьми, которым веришь, а потом дрожишь – вдруг донесут. Вдруг меня опять посадят. И ведь ужас-то весь в том, что вот первый раз ни за что посадили, значит, и второй раз опять могут ни за что посадить.

И все кажется, что за тобой следят, что кто-то бегает туда с доносами, что кто-то прислушивается к каждому твоему слову, запоминает его, – «осмысляет и обобщает» – и тащит туда, а там копится уже «дело», и вот в один прекрасный момент – опять арест, опять эти вонючие камеры, неволя, допросы, весь этот кошмар... О, нет! Второй раз – невозможно это не то что пережить, а просто начать жить и прожить хотя бы день... это уж сразу шаг в потустороннее, в безумие или смерть – Смерть...

Надо как можно меньше быть с людьми, я и так почти ни с кем не бываю, но надо еще меньше с ними говорить, особенно на политические темы... и не скажешь ничего дурного, а ведь они исказят, «осмыслят» – и донесут...

О, подло, подло жить в этом страхе, бояться за каждое честное, правдивое слово свое, прятать благородную боль свою, недоумение свое от людей, ждать расправы и унизительного уничтожения за любовь свою к людям, за настоящую любовь к народу, родине и партии...

А ведь сквозь всю боль, разочарование, отвращение, сумятицу – во мне только эта любовь...

Так храм поруганный – все храм,

Кумир поверженный – все Бог.

Я старею, дурнею и опускаюсь. Давно уже не делаю маникюр, не стриглась давно, ни малейшего интереса к тому, чтобы принадиться или сделать в этом отношении что-нибудь, т.к. «нарядов» нет. Живое ощущение тюрьмы стало слабее (надо все-таки хоть конспективно записать что-нибудь, было много ценного), а общее состояние безразличия, какого-то упадка, подавленности — возрастает. Это, наверное, старость, а не болезнь...

Я шлепаю по квартире в Колиных огромных туфлях, почти не подмазываюсь... на лице много морщин, мешки под глазами... Нет какой-то внутренней оживлённости, интереса к жизни... в то же время — томящее, как никогда, чувство временности, ожидания. Это, наверное, из-за войны. Война тяжелая, я бы сказала, неожиданно-тяжелая, и по состоянию на фронте и, особенно, в тылу; много жертв. Конечно, ценою любых жертв и усилий мы выиграем ее, но сколько еще погибнет наших хороших людей! Страшно подумать. А если весной еще придется воевать на юге, если нападут на нас англо-французы... подумать еще страшнее... по всей видимости, наша военная мощь (главным образом тыловая) — была сильно преувеличена, примерно так же, как «справедливость» и «зоркость» НКВД. Иначе чем же объяснить, что только из-за войны с Финляндией так быстро поползло снабжение, нарушилась нормальная работа предприятий, железных дорог и т.д.

А нам — гл. обр. партии — ничего не говорят о действительном положении вещей, одно славословие и замазывание трудностей и провалов. Но ведь мы же все видим и на себе испытываем, зачем же очки втирать?

15/2-40

Вот все решено: буду держать дом в порядке, стряпать, чтоб вкусно и нормально есть и мне и Коле. Но дома грязно, посуда немытая стоит по неск. дней, едим кое-как... Просто распустилась. Много сплю: сплю до 2 ч. дня, засыпаю в седьмом утра. Ах, просто, ну просто я лодынь и неряха, ни при чем тут гражданская

скорбь. Правда, душевное состояние все время подавленное, тяжелое: ощущение утраты и сознание какой-то бесперспективности, безвыходности в будущем — не покидает.

По родной стране пройду стороной,
Как проходит косой дождь...
Решетка, решетка стоит между мною и миром!
Решеткой разделено и внутри — на волю и неволю...

Хорошо, что нет (пока!) равнодушия. И скепсис, и горечь, и возмущение — все лучше его...

Из письма сестре 17/2 — 40 г.:

«Ох, какая суровая в этом году зима! На улицах холодно и темно. В тяжелом, тревожном каком-то мраке ходят синеватые трамваи, движутся синие круглые огни машин, и надо всем этим — радио. Без перерыва, точно тихий помешанный: бормочет бормочет, потом схватит трубу, поиграет, потом попоет, потом опять бормочет и опять поет. Песни — печальные страшно звучат в этой темноте, вблизи от фронта, а веселые еще страшнее. Точно душа городка тоскует в темноте. [...]»

...еще одна месть последних лет, — разобщение, одичание людей... [...]»

...темно на душе, и не знаю, когда посветлеет. Так, иногда, вспышками. Такое чувство, что «надо проснуться», и не можешь. А кажется, что как только «проснешься» — все пойдет по другому. [...]»

Ну, примусь сейчас за новую школьную повесть, за пьесу, за роман. Кроме первого — все это в высшей мере не хлебно. Надеялась, как на базу, на историю [завода «Электросила»], но база эта битая [Ленгослитиздат перенес сроки]. Таким образом материальные перспективы неясные, до того, что хоть на службу поступай... А это — гроб. Во-первых, куча людей самого паршивого сорта, с которыми ежедневно надо будет общаться, во-вторых, окончательная невозможность работы... А если что у меня осталось — желание писать, пусть только для себя, но абсолютно всерьез...»

19/2 - 40

Ну вот, над историей завода «Электросила» трудилась совершенно зря. «Перенесена» на 41 год! План Соцэка с 33 названий срезан до 7, в этом квартале вообще не будет отпускаться бумаги на книги... Если это все называется расцветом культуры, то я просто ничего не понимаю в терминологии... неужели небольшая, в сущности, война с Финляндией – причиной этому? А отсюда, с этого вопроса, открывается такая бездна, что голова кружится, как только заглянешь в нее... лучше уж и не думать об этом – все равно бесполезно.

Вероятно, все, что нам позволено – это малые дела. Ну что ж, будем выполнять хотя бы их, если нам не доверяют в большем, в коренном.

26/3-41

Сегодня, в первый раз за довольно долгое время у меня не тюкает в голове. Это громадное достижение. Уже не помню, но чуть ли не с десятого числа началась у меня отчаянная невралгия, такая, что я света не взвидела. Глотала всякую дрянь, и сейчас еще ем на ночь люминал и от дикой головной боли, от лекарств совершенно отупела. Все мысли и чувства ленивы и притуплены, все равно. Нет, еще рановато для маразма. Еще я должна написать роман и выпустить хорошую книгу стихов и увидеть на экране свой «Первороссийск», а потом уж пускай.

Сейчас я в доме творчества, в Детском. В этом доме я дважды умирала: первый раз, когда пришла просить у Толстого машину, чтоб увезти Ирку в больницу. Я сказала Толстой: «Моя дочь умирает, дайте мне машину», – и поняла, что она действительно умирает... со смертью её началась моя смерть, тем более, что я, я виновата в смерти Ирочки. И весь мир стал смертен.

Второй раз – из этого дома меня увезли в тюрьму, и с нее началась вторая смерть – смерть «общей идеи» во мне.

Я не живу; я живу вспышками, путем непрестанных коротких замыканий, но это не жизнь.

Я живу по инерции, хватаюсь, цепляюсь за что-то, и за работу, и за пижаму, но это непрестанное бегство от самой себя.

Доктор сказал, что мне надо пойти к психиатрам. Зачем? Что они могут восстановить во мне? Я с удовольствием скажу им, что мне нечем жить, потому что насущнейшая моя потребность говорить людям именно об этом, и это тоже бегство, т.к. я слишком слаба, чтобы таскать все это в самой себе, но чем, чем они мне могут помочь?

Какую новую опору дадут они мне?

Я круглый лишенец. У меня отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской власти, больше, даже и к идее её... «как и жить и плакать без тебя?»

Я думаю, что ничто и никто не поможет лгунишкам, одинаково подлым и одинаково прекрасным во все времена и эпохи. Движение идет по замкнутому кругу и человек с его разумом бессилен.

У меня отнята даже возможность «обмена света и добра» с людьми. Все лучшее, что я делаю, не допускается до людей — хотя бы Первороссийск. Мне скажут — так было всегда. Но в том-то и дело, что я выросла в убеждении (о, как оно было наивно), что «у нас не как всегда...» Я задыхаюсь в том всеобволокивающем тумане лицемерия и лжи, который царит в нашей жизни, и это-то и называют социализмом!

Я вышла из тюрьмы со смутной, зыбкой, но страстной надеждой, что «всё объяснят», что то чудовищное преступление перед народом, которое было совершено в 35-38 гг., будет хоть как-то объяснено, хоть какие-то гарантии люди получат, что этого больше не будет, что освободят если не всех, то хоть очень многих, я жила эти полтора года в какой-то надежде на исправление этого преступления, на поворот к народу — но нет... все темнее и страшней, и теперь я убеждаюсь, что ждать больше нечего от государства.

Я все ругаю себя разными словами — «маловерие», «пороху не хватило», «испугалась трудностей» — но нет! Не трудностей я боюсь, а удушающей лжи, которая ползёт из всех пор...

Что же может тут сделать психоневролог?

Одурить меня так, чтоб ложь эта и гибель идеалов и ужасный процесс перерождения стал мне безразличен? Но это последняя смерть и уже настоящая...

Лучше мучительное это безвременье, лучше горький этот кризис, буду думать, что кризис и буду бесстрашно идти на него...

1/4 - 41

...впереди — бесперспективность и тьма...

20/5 - 41

«Продолжается трясучка. Сейчас надо идти на собрание писателей-коммунистов — относительно перевыборов Правления Союза.

Вот то-то уж никчемное занятие! Да, союз влечит жалкое существование, он почти умер, ну а как же может быть иначе в условиях такого террора по отношению к живому слову? Союз — бесправная, безавторитетная организация, которой может помыкать любой холуй из горкома и райкома, как бы безграмотен он не был. Сказал Махатов, что Ахматова — реакционная поэтесса — ну значит и все будут об этом бубнить, хотя НИКТО с этим не согласен. Союз, как организация создан лишь для того, чтоб хором произносить «чего изволите» и «слушаюсь». Вот все и произносят — и лицемерят, лицемерят, лгут, лгут — ах, не вздохнуть!

Но раз мы все поставлены в такое положение, «чтоб не иметь свое суждение» — о чём же говорить? Что «улучшать» в союзе? Систему лицемерия? Способы завинчивания гаек?»

Как мы видим из выше цитированных документов, главным интеллектуальным плодом тюремного заключения Бергольц стало разочарование в Советской власти как таковой. По терминологии того времени после отсидки Ольга стала троцкисткой, т. е. коммунистом, считавшим Советскую власть переродившейся, антиреволюционной. На ее счастье, органы НКВД перестали интересоваться ее теоретическими убеждениями.

Весьма умна была эта женщина, если в 30-х годах стала понимать то, что общество поняло лишь 60 лет спустя. Умна она еще была и потому, что никому не говорила о своих разочарованиях.

С тех времен сохранились записи на листке, сделанные рукой поэтессы. В них, наряду с упоминанием клуба НКВД, цитируется пророк Иеремия:

«Я стал вседневною песнью народа»*.

И далее:

«Я для них песнь».

И ниже:

«Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас»**.

В этой записи — предчувствие грядущих потрясений и собственного плача среди них.

Страшна участь поэта, вынужденного оплакивать народ свой! Этот жребий ждал Бергольц впереди.

Сталинская премия

Была ли Бергольц сталинисткой? Безусловно. Об этом свидетельствует запись в дневнике 30-х годов: «я не могу произносить его (Сталина — авт.) имя без пароксизмов восторга и счастья!»

После разоблачения культа личности Бергольц ни разу публично не упрекнула Сталина ни в чем.

Говоря о ее сталиниане, в первую очередь упомянем о стихотворении, написанном под впечатлением военной ноябрьской речи Сталина (6 ноября 1941-го года). Стихотворение (которое так и называется — «Шестого ноября сорок первого года») заканчивается так:

* У пророка читаем: «Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневною песнью их». (Плач Иерем. 3:14).

** Буквальная цитата из пророка (Плач Иерем. 4:17).

Мы слышали твой голос. Мы спокойны.
Нас не сломают, не поработят.
Да здравствует суровый Вождь и Воин!
Да здравствуют Москва и Ленинград!

Второе упоминание о Сталине находим в неопубликованной редакции V главы «Февральского дневника».

После строки – не превратиться в оборотня, в зверя... – читаем:

Уж завелась меж нами злая небыль,
Безжалостнее хищников-зверей:
Могильщики, торгующие хлебом,
Полученным от жен и матерей.

На грязных кухнях спекулянт ютится,
Крадущий пищу в горестных больницах.

Они из тех, кто желтою ракетой
Указывал фашистам лазареты,
Они из тех, кого с фашистом рядом
Повесим мы, солдаты Ленинграда.

Но всех противней свой, ослабший духом;
Закутанный в старушечье тряпье
Трясется, ноет, собирает слухи

И не делясь ни с кем единой крошкой,
То здесь урвет, то выклянчит немножко.

Он не трудясь, гуляет, как герой:
– Я, мол, ослаб, живу в кольце блокады,
Но бреюсь, бреюсь... Брейся, черт с тобой,
И не мешай нам, не топчись, не надо.

Ты все равно теперь уже разгадан:
Ты не присвоишь подвиг Ленинграда,
Ты дней его суровых недостоин,
Его победной завтрашней зари.

Об этом старый ленинградский воин
Товарищ Сталин гневно говорил.

В третьем номере журнала «Звезда» за 1950-й год было опубликована очередная сталиниана Берггольц — стихотворение «Здравствуй на тысячи лет вперед!..».

Предистория этого стихотворения началась еще тогда, когда Ольга преподавала истпарти (историю партии). В ее конспекте лекции «Жизнь и деятельность Сталина» (1939 г.) есть цитата воспоминание Н. Киртадзе о первом побеге Сталина из ссылки весною 1904 года: «В начале 904 г. как-то раз, уже после полуночи, я услышала стук в дверь. Спрашиваю: «Кто там?» — «Это я, открой!» — «Кто ты?» — «Я, Сосо». Я не поверила, пока он не произнес наш пароль: «да здравствует 1000 раз».

Это приветствие Берггольц подчеркнула. Этот же пароль — на обложке конспекта. Он же, переложенный, дал начало стихотворению «Здравствуй на тысячи лет вперед!..»

В этом стихотворном сочинении повествуется о первом побеге из ссылки «совсем молодого» большевика Джугашвили:

...Он стукнул в окошко. Из дома спросили:
— А кто там, во мраке? А кто к нам идет?
И крикнул друзьям молодой Джугашвили:
— Здравствуй на тысячи лет вперед!
Самой Революции крикнул. Она
Была ему ясно в ту полночь слышна.

По силе, по смелости сразу узнали
И дверь широко распахнули, и вот
Из звездного вихря шагнул к ним Stalin
С правдой на тысячи лет вперед.

Четвертым произведением, написанным в сталинскую эпоху и для Сталина, оказался «Первороссийск» – поэтический монумент той эпохи. За него Берггольц получила Stalinскую премию.

«Первороссийск» был задуман Ольгой еще до войны. В дневниках довоенной поры встречаем такие записи:

20/4-41

<...>

Ах, как славно было бы, если б получилась к юбилею <революции> картина <«Первороссийск» на Ленфильме>! Это был бы мой подарок к 25-летию Советской Власти, дар нашим знаменам, нашей мечте, нашим идеалам – храму оставленному и кумиру поверженному, которые еще драгоценней именно потому, что они оставлены и повержены.

Не нами, о, не нами!

5/V – 41 <после неприятия «Первороссийска» в Москве>

Да нет, просто немыслимо в таких условиях существовать искусству – жгучему, искреннему, правдивому.

Что такое вообще и вкратце «Первороссийск»? Сказ о том, как русские дураки ходили на Алтай – коммунистическое счастье искать.

Даже авантюрист Ленин поразился самонадеянной питерских коммунистов. «А что, под Петербургом нельзя?» – спросил он. Но дурь на то и дурь, чтобы не слушать (и не слышать) никого, кроме себя.

Современники, чтобы хоть как-то объяснить самим себе неуемную блажновоявленных политических Робинзонов, писали о «Первороссийске»: «Политические заключенные, возвратившись после революции в Петроград, задумали создать сельскохозяйственную коммуну в местах своей ссылки на Алтае».

Отвечая неведомым нам оппонентам, Ольга записала в блокноте (возможно, это конспект произнесенной речи):

«В основе сценария лежит факт.

Люди ехали на Алтай...

«Не точно вырисовывается позиция Ленина».

А кто мог знать тогда что-нибудь точно?

Почему рабочие уезжают из Петербурга?

Потому что Ленин велел!

Город умирал, заводы останавливались.

Он писал — «Преступление оставаться в Петербурге».

И потому что было голодно.

Но Ленин обрадовался форме.

Отношение автора:

подвиг, но не результативный упор, как вся революция.

Главный вопрос — почему? Почему захотели Коммуну, Революцию?

Панталоны — фарфор — дикари? (а Горький? А Зимний-то громили? А бомбардировка Кремля, после которой Луначарский отказался, рыдая, от поста наркома?)».

Сохранился протокол заседания худсовета 2-го творческого объединения киностудии Ленфильма с повесткой: «Обсуждение литературного сценария Ольги Берггольц «Первороссияне». На заседании присутствовала и Берггольц. Приводим выдержки из протокола:

Добрин Е. С. Необходимо усилить современное звучание сценария. <...> Ведь сценарий будут смотреть не только люди нашего возраста, но и молодежь, надо, чтобы она поняла величие революции и при всем своем мальчишеском скепсисе прониклась идеями. Где-то нужно задеть их струну...

О. Берггольц. Что же, им рекомендовать неходить в кафе и не танцевать твист?

Неизвестный. Об этом речи быть не может.

О. Б. Пусть смотрят и умиляются. Это зависит от режиссера и всех нас, чтобы они ходили и рот разевали, а подмазываться под них не надо.

Реплика с места Надо учитывать и этого зрителя.

О.Б. Подход должен быть только один – прямой.

Неизвестный. Часто целый ряд прекрасных вещей проходит мимо молодежи, этого надо избежать. Для нас многое ясно, но в зале будут и более молодые зрители.

О.Б. Я не могу рассуждать с точки зрения беглого колхозника.

М.А. Гуковский Почему первороссияне не борются за идею, а лишь умирают за нее? ... Против киржатской, нестеровской Руси они идут с пустыми руками и умирают мученической смертью.

И.В. Соловьев ...убивают безоружных. Борцы выглядят мокрыми курицами, это недопустимо.

Гуковский отметил, что хлебопашцы они никаковские, потому как «ошиблись в земле».

Абрамов. Плохие были посланники, не сумели землю выбрать Ведь хлебопашество – это тоже наука.

Чирков. Эстетика города Китежа, самосожигающего народ, эстетика жертвенности... несколькоискажет дух исторической мечты, она вносит во вторую половину сценария характер трагической обреченности, трагического мученичества, а не мощного электрического разряда воли тех лет...

Тарсанова И.Н. Произведения О.Ф.Бергольц не нуждаются ни в объяснениях, ни в защите.

Постановили: сценарий принять.

В период написания Первороссийска Бергольц обильно восхваляла Сталина в многочисленных газетных статьях.

С точки зрения исторической «Первороcийск» не пережил своей эпохи. С точки зрения поэтической он также не может считаться удачей Бергольц. В «Первороcийске» Ольга не справилась с задачей сведения разрыхленного поэтического материала в единый ритм. Задача эта всегда была архиважной и нередко архитрудной для поэтов – создателей больших полотен. Но может, она и не ставила перед собой такую задачу? Во всяком случае, психотерапевтическую роль для самой Бергольц он сыграл, и

немалую, ибо подтвердил — «не может быть, чтоб жили мы на-
прасно», еще раз доказал ее верность знаменам Октября.

Когда она рассталась со Сталиным? Никогда. Она до самой смерти сохраняла у себя толстую пачку газет с некрологами о Сталине. В некоторых из них было опубликовано и ее последнее сталинское стихотворение, посвященное кончине вождя.

И вместе с тем, оставаясь сталинисткой, она сочувствовала жертвам сталинского режима, и трезво оценивала духовную обстановку эпохи.

В ее дневнике за <август 1946 г.> упоминается постановление от 14 августа 46 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Она писала, что государству «... нужно только одно: выполнение нового пятилетнего плана — плана подготовки к новой, еще более ужасной, чем эта войне».

И далее: «...поголовное стремление людей — уйти в свои норы, где можно лгать, можно пожаловаться на что-то и сказать, что тебе, например, нравятся стихи Ахматовой, не будучи тут же обвиненным в государственном преступлении, где как-то дышишь, хотя бы и «шевеля кандалами цепочек дверных» (это из «Ленинграда» Мандельштама) — у каждого круг общения (истинного) сужен до предела, каждый бежит домой и пытается в меру скучных материальных возможностей устроить дом... Небывалое, страшное духовное подполье — да, оно существует, это явно. Там — самые верные, самые честные — вот в чем трагедия времени. А мне все еще кажется, что оно не нужно и могло бы не быть, и что государство делает — продолжает дичайшую ошибку, обрекая нас на него.

Ведь что оскорбляет, что деморализует, что отнимает дар речи и обезволивает, и вызывает жажду заниматься рамочками и стряпней? То, что тебе непрерывно втолковывают (всем! постановлениями, статьями, речами, «Культурой и Жизнь»), что сам ты — ровно ничего не значишь, что ты имеешь право на

* В этом издании было полностью опубликовано Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград»

существование лишь потому, что с грехом пополам выполняешь чьи-то указания, что, наконец, ты не сам даже, по своей воле, их выполняешь, а тебя ЗАСТАВИЛИ их выполнять. ТЫ – ничего, все – там. Ты не сам так захотел, а тебя «воспитали», тебе указали, тебя заставили. Даже то, что я делаю по собственной воле, превращается таким образом как бы в результат принуждения, отбирается у меня. А главное – клич: «нам дела нет до того, что ты хочешь, делай то, что мы приказываем...» Великий инквизитор съел бы зубы от зависти».

Там же, в дневнике, реальная действительность названа фиктивной, нереальной; тогда как творчество именуется «миром реальным».

«<...> Почти не идут стихи. Все, что пишу – беспомощно. То, что получше – печатать глупо».

25/II – 47

Почитаешь «Литературку» – и как кусок говна съешь. Этакого «крупного говна». Особенно расстроила меня статья об «Приезжайте в Звонковое» – эта пьеса на ту же тему, собственно, что и наша. Но даже от статьи веет такой ложью, таким блядствием, что просто ужас. Чего стоит это утверждение, что «в нашей стране вопрос послевоенного неустройства человека может быть разрешен только комедийно», или эта, уже превращающаяся во всеобщую государственную манию – западобоязнь – боязнь каждой ничтожной мелочи, идущей оттуда, боязнь культуры их, вплоть до классической, эти утверждения, что «только у нас» – все самое лучшее, самое передовое, только у нас люди способны на подвиг, боязнь, сопровождающаяся «возмущением» по поводу «клеветы о железном занавесе...» Боже мой, какой мы одинокий народ! И если все – «только у нас» – то на что же мы, получается, осуждены? Если даже никто, кроме нас, не способен на равное нашему самоотвержение, подвиг – значит, мы так и будем одиночествовать, воевать со всем миром, и внедрять наши идеалы и строй только с помощью оружия. Ведь вот что получается от этой проповеди – «только

у нас», «только мы», и «мы самые лучшие» — это теория исключительности.

27 / III — 47

<...> ...положение в обществе уже такое, что правды люди не говорят. Сегодняшнее партсобрание — особо показательно. Жид — Плоткин — делал доклад — «Новая мораль советского человека». Он был до того лжив, что... Ни один человек не взял слова, даже гнида — Трифонова и др., подобные ей.

Раствор лжи был перенасыщен...

Если бы стала выступать с теми мыслями, которые у меня есть о морали — с честными и высокими мыслями, со своими — я была бы неприлична. Все равно, что выйти перед ними голой. Теперь просто *не принято* высказывать ничего, кроме того, что уже указано Ц. О., и «Культуркой» и т.д. Все, что помимо — уже почти бунт. И все научились говорить ни о чем.

И. Эренбург вспоминал свое посещение Ленинграда летом 1945 года:

«Мы как-то сидели в писательской компании, рассуждали о том, о сем. Берии присвоили маршальское звание. О. Ф. Берггольц вдруг спросила меня: «Как вы думаете, может 1937-й повториться или теперь это невозможно?» Я ответил: «Нет, по-моему, не может». Ольга Федоровна рассмеялась: «А голос у вас не уверенный».

Основания для неуверенности были. После ждановского постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» партия ожидала покаяния ленинградских писателей. Покаяния — параллельно с ленинградским делом, когда все руководство Ленинграда было арестовано. Должна была «каяться» и Берггольц — но она этого не сделала.

Из письма Ольги к некоему Володе (осенью 1946 г.):

«Пока что у нас очень худо с деньгами — живем на то, что продаем книги, я продала свой отрез на черное платье и т.д. Лимита меня пока не лишили, но лягают и щиплют все время. Извелась духовно до предела, а еще впереди — необходимость

«покаяния», которого я просто не в силах представить. Такого ужаса на душе даже в 37 году не было. Только хочу предупредить тебя — не болтай ничего лишнего по этому поводу — очень ревниво кое-где к этому относятся, слушают во все уши...

(...)

И не плачь ты от страха, как маленький,
Ты не ранен — ты *только убит...**

Вот так и я...»

Откроем воспоминания Л. Левина о том, как Бергольц встречала Новый, 1947 год.

«В разгар застолья я заметил, что Ольга и Макогоненко о чем-то переговариваются. Оказывается, речь шла о том, чтобы пойти за Анной Андреевной Ахматовой. Это было условлено заранее и известно всем, кроме меня.

Ахматова жила неподалеку, в так называемом Фонтанном доме. Макогоненко скучно было идти одному, и он предложил мне прогуляться с ним до Фонтанного дома.
— Но удобно ли это? — возразил я. — Мы с Анной Андреевной незнакомы.

— Чудак! — ответил Макогоненко. — Вот тебе прекрасный случай познакомиться.

Короче говоря, мы отправились на Фонтанку.

Подойдя к дому, где жила Ахматова, Макогоненко оставил меня на улице, а сам вошел в дом. Через некоторое время он вернулся, ведя под руку Анну Андреевну.

Ахматова посмотрела на меня, как мне показалось, с некоторой опаской. Но Макогоненко тут же представил меня как друга Бергольц, Германа, Шварца. Анна Андреевна сразу успокоилась. Хотя Ахматовой еще не было шестидесяти, шла она нелегко, не могла справиться с дыханием. Мы с Макогоненко то и дело замедляли шаг.

* (строка из известного стихотворения последнего периода войны)

Ольга встретила Анну Андреевну, что называется, с королевскими почестями.

Когда Ахматова вошла в комнату, все стояли с бокалами в руках. Анна Андреевна опустилась на подготовленное для нее место (не села, а именно опустилась). Шварц сказал тост в ее честь — очень серьезно, без тени юмора.

Новогодняя встреча продолжалась.

Но течение ее неуловимым образом изменилось.

Все мы были те же самые, что час назад, и в то же время как будто совсем другие. Все было по-прежнему и в тоже время совсем иначе.

Я подумал, что это ощущение возникло, быть может, у меня одного: я впервые видел Ахматову вблизи и не мог не чувствовать себя при ней несколько скованно. Но и остальные вели себя сейчас не совсем так, как раньше. В чем состояла разница, я не взялся бы определить, но что она была — мог поручиться.

Только в поведении Ольги не ощущалось никакой перемены. Она вела себя с полной естественностью и свободой. Хлопотала вокруг Ахматовой, то накладывая ей салат, то наливая коньяк или водку. По всему видно было, что общение с Анной Андреевной давно стало для нее бытом и сегодняшняя встреча за новогодним столом — лишь одна из многих других.

Потом я понял, что поведение Ольги определялось не только тем, что она привыкла к встречам с Ахматовой. Она вела себя непринужденно главным образом потому, что чувствовала себя с ней на равной ноге.

За нашим столом сидели Шварц и Герман — писатели, чей талант Ольга, как мы знаем, ценила достаточно высоко, но под стать Ахматовой все-таки была здесь она одна. Являлось это осознанным убеждением или подсознательным чувством — не все ли равно? Важно, что Ольге так казалось. Право на равенство с Ахматовой Ольга завоевала тем, что было пережито ею за последнее десятилетие, и тем, что было создано на почве пере-

житого. Ахматова всегда была одной из достопримечательностей Петербурга – Петрограда – Ленинграда. Теперь такой же достопримечательностью стала Бергольц.

Если бы кто-нибудь в эту минуту сказал Ольге, что она ощущает себя наравне с Ахматовой, Ольга – не сомневаюсь! – стала бы яростно возражать. Но независимо от сознания и воли это ощущение до самого конца неистребимо гнездилось в душе, «в ее немых глубинах», как – по совсем другому поводу – удивительно точно сказала Бергольц.

Между тем тосты следовали один за другим. Все они так или иначе были теперь за Ахматову. Шварц шутил, мы по-прежнему отвечали ему улыбками и смехом, но и это выглядело сейчас не так, как совсем недавно.

Было уже очень поздно – или очень рано? Наставала пора расходиться. Казалось, все тосты за здоровье Ахматовой сказаны. Вдруг Герман потребовал, чтобы мы наполнили бокалы.

– Дорогая Анна Андреевна, — сказал он, вставая и вслед за собой поднимая всех нас. – Мы вас очень любим и хотим, чтобы вы услышали это еще и еще раз. Вы для нас всегда были и на всегда останетесь великим русским поэтом. В русской поэзии были Пушкин, Лермонтов, а теперь есть вы. Вы – законная наследница их славы.

С повлажневшими глазами Герман подошел к Ахматовой и с нежной почтительностью поцеловал ей руку. Анна Андреевна поистине царским жестом полуобняла его и поцеловала в лоб.

Новогодняя ночь кончалась. За окном занималось первое утро 1947 года».

Воспоминания Левина ценные тем, что он поневоле открыл страшную тайну: Бергольц поэтическая ровня Ахматовой, и (добавим от себя) и Цветаевой тоже. И Бергольц понимала это.

1947-й год, однако, стал очередным годом разочарований для Ольги Федоровны.

<...>*

«Неудача сулит нищету, а удача — позорную славу.

А 2 мая, ночью, после пьянки у Ю.Г.<ермана>, после воспоминаний, почему-то особенно жгучих — о прелестном докладе т. Ж<данова>, я чуть-чуть не дала дуба: что-то случилось с сердцем. Может быть, я перепугалась больше, чем следовало, но оно вдруг стало останавливаться, и я почувствовала, что стремительно лишаюсь тела, отрываюсь от земли, исчезаю...

Вызвали «скорую», она дала мне камфоры. Вплоть до сегодняшнего дня была чудовищная, детская какая-то слабость. И как всегда, когда ощущаю сердце — думала о моей Ирочке, вспоминала все — кожей, плотью, сердцем — и тосковала, и ужасалась безмерно. Бедненькая, что она выносила... девочка моя, свет мой, вечная моя вина.

Врач наш был у меня на другой день, сказал, что, по его наблюдениям, доклад тов. Ж<данова> резко отзывался на сердцах работников искусств.

На сердцах наших каторгу свою укрепляют!

Ну, а если мы молчим, да еще хорошие вещи за советскую власть пишем — так нам и надо.

Запуталась я, мучительно все, ужасно.

<...>

Получила сегодня очень милое письмо от Пастернака, которое почему-то все же показалось мне немножко официальным или усталым. Я чужой ему человек, чужого ему мира, конечно. Но его поэзия — часть моей души, часть любви с Колей».

Дневниковая запись от 23 / VIII - 47 года:

«Вчерашний день — образцово-показателен по густоте впечатления бытия, по перегрузке сердца, по печальной, безыс-

* Вероятно, «Они жили в Ленинграде» / «У нас на земле». Как отмечено в дневнике поэтессы (27 / XI - 47), пьеса получила третью премию на всесоюзном конкурсе.

ходной бесплодности своей. С утра приехала Галя Пленкина, собственно, лучшая моя подруга. Она — типичный человек из народа, тот самый простой, золотой, и т.д., от чьего имени какие-то холуи пишут Ст.[Сталину](#) письма, вокруг которого стараются принудить нас лгать и рисовать его архи счастливую жизнь. Она была когда-то человеком, жадно рвущимся к знаниям, к новому и новому, к искусству, — недаром любила она Леньку... Как она могла интересно и любовно говорить о людях, о книгах... Я помню ее в разгар горя, когда ее травили и преследовали в 37 году, после, как я вышла из тюрьмы и у нее умер сын Лени, — жизнь и действительность преследовали ее непрерывно, и все же сколько мысли жило в ней, сколько эмоций... Теперь нужда, всеобщая, горькая, абсолютно безысходная нужда совершенно... раздавила ее... [...] Она говорила — «Лялька, да мне ведь думать некогда над чем-нибудь, над той же жизнью, над тем, что вокруг делается. Понимаешь, некогда думать, как нам всем...» [...] Это — «некогда думать», — вот оно, крупнейшее достижение. И так живут почти все — в борьбе за первичные основы существования — как бы прокормиться, при том прокормиться самым чем-то примитивным — хватило бы хлеба... [...] Я уже почти засыпаю от нервного истощения, когда начинаю думать о деньгах. Я вся — в невыполненных договорах, в долгах — как запаршивевшая собака, и одно «утешение», что у Юри, Германа, например — положение еще безнадежней, да кроме того он позорится, марается, пишет продажный сценарий о Ленинграде, типа «Сталинградской битвы», да еще пишет сценарий, как золотой советский человек задыхается в капиталистическом болоте... Я-то хоть этого не делаю, а пишу то, что мне нравится... Правда, это, кажется, начинает уже оборачиваться боком: совершенно подло отказался от пьесы Завадский*. Сегодня пришло письмо из издательства «Искусство», где собственно, содержитя тоже вежливый отказ печатать

* Завадский Ю.А. (1894 — 1977), советский режиссер.

пьесу отдельным изданием... О, если бы все это не означало нужды, рабской зависимости от денег, унизительной невозможности выпить стаканчик вина, которое все больше становится необходимо психике, и даже совершенно ослабшее сердце и его угрозы, боли и замирания не в силах заставить воздержаться от этой потребности — опьяниться, — о, если б прекращение писания не означало попросту почти голодной смерти — (не могу же я все взвалить на Юрку) — с каким бы наслаждением я перестала печататься, — и клянусь, ни забвение, ни дурацкие попреки не испугали бы меня. [...]

<Об Ахматовой>

А старуха — совсем клинически душевнобольной человек: призраки мучат Музу плача уже неотступно, она бредит непрерывно. Нет, это не рисовка. Это болезненная гипертрофия личности, — она ни о чем почти не может говорить, как о себе, и все, что происходит кругом — кажется ей обращением к ней и против нее... [...] Она ела и пила жадно, она голодает, наверно, потом пришли ко мне и она опять, сама, запросила вина, и очень быстро и серьезно опьянила, — чего с ней раньше не бывало, — от сухого вина, в небольшом количестве, и все говорила и говорила, как за ней следят, как дежурит теперь около ее дома какой-то офицер, как Большой Дом только и думает, что о ней. Слушать все это было страшно, опровергать — бессмысленно, потому что она, как истый сумасшедший, уже твердо верит в свой бред, а действительность, не скучаясь, подбрасывает ей все новый материал. Действительно, какой-то сержантик болтается около ее дома, явно по бабской линии, или служащий Арктического... — «Вот он», — сказала она таким голосом, когда мы, провожая ее, подошли к ее дому, что у меня все оледенело внутри, и я сама, — маньячка, — подумала, что она права, вопреки всякой логике...

Зрелище Старухи, ее тяжелого безумия, распада ее чудесной, светлой личности, было так невыносимо, особенно в сочетании с Галкиным «некогда думать», — так сказать, два конца одной

истории, что проводив ее, я, совершенно не чувствуя результата вина, упросила Юрку купить еще бутылку, т.о. на вино вчера ушло (при полной нищете, долгах и т.д.) двести рублей...»

31/X — 49 года.

«Были неск. дней в Ленинграде. Уезжала туда на большом подъеме: по-настоящему, по-настоящему пошли стихи, чудесно было с Юрай,— «чудовище» вдруг притихло, и северное сияние полыхало.

В Ленинграде было много суэты, и жизнь текла бессодержательно и в общем мучительно для сердца. Наш день, 26/X, мы провели хорошо и любовно. На другую ночь вдруг вспыхнул скандал, — я перечла переписанное мною письмо Бычкова*, все залило внутри ядом, опять подозрения, опять одна боль. Ночь была ужасной, наговорили друг другу бог знает чего, встали разбитые, измученные, с ясным ощущением трещины, но все же решили поехать сюда.»

Перед скандалом приходил Волька** — сказал, что ГПБ получила задание — доставить компрометирующие материалы на «Говорит Л-д». Дело в том, что все наше бывшее партрук-во во главе с Кузнецовым, Вознесенским и т. д. — посажено. Сначала сняли (это произошло вскоре после смерти Жданова), нам объявили — противопоставление Л-да Москве, без спросу организовали оптовую ярмарку, подделали перевыборы, обогащались за народный счет и т. д. В общем, «отец» выразился — «вроде зиновьевской оппозиции» (?) Отправили их на учебу, — а недавно пересажали всех, решительно всех — «антипартийная группа, связанная с Югославией». Теперь в Л-де массовые исключения из партии, аресты (много у нас в Союзе) — директива — ликвидировать все, связанное с этой группой, в особенности по части идеологии.

* Один из фронтовых корреспондентов Ольги Берггольц.

** Всеволод Марин — директор Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, затем пониженный в должности в связи с репрессиями в семье жены).

И хотя у меня нет ни единого имени из этой группы в моих книгах, а не то что «восхваления» их, хотя красной нитью через все мои стихи проходит идея единения Л-да с Родиной, помоши Родины Л-ду, хотя «Лен. поэма» посвящена только этой идее — не будет ничего удивительного, если именно меня как поэта, наиболее популярного поэта периода блокады, — попытаются сделать «идеологом» ленинградского противопоставления со всеми вытекающими отсюда выводами вплоть до тюрьмы. Такой «идеолог» должен быть, и его «сделают». Видимо, уже идет работа.

В день отъезда Юра прибежал из издательства дико взволнованный и сказал, чтобы я уничтожила всякие черновики, кое-какие книжонки из «трофейных», дневник и т. д. Он был в совершенном трансе — говорит, что будто бы услышал, что сейчас ходят по домам, проверяя, «что читает коммунист», т. е. с обыском. Кроме того, откуда-то запрашивали изд-во, какие из моих книг, Саянова^{*} и Прокофьева^{**} — изданы.

Меня сразу начала бить дрожь, но вскоре мы поехали. Ощущение погони не покидало меня. Шофер, как мы потом поняли, оказался халтурщиком, часто останавливался, чинил подолгу мотор, — а мне показалось — он ждет «ту» машину, кот. должна нас взять. Я смотрела на машины, догоняющие нас, скавшись, — «вот эта... Нет, проехала... Ну, значит, — эта?»

Уже за Териоками, в полной темноте, я, обернувшись, уви-дела мертвенные фары, прямо идущие на нас. «Эта». Я отвернулась и стиснула руки. Оглянулась — идет сзади. «Она». Оглянулась на который-то раз и вдруг вижу, что это — луна, обломок луны, низко стоящий над самой дорогой... Дорога идет прямо, и она — все время за нами. Я чуть не зарыдала в голос, — от всего.

Так мы ехали, и даже луна гналась за нами, как гепеушник. Лесной царь — сказка. Наконец мотор отказал совсем — ночью, в 50 км от дома! Идиот-шофер опустил руки. Помогло чистейшее

* Саянов В.М. (1903 — 1959), советский писатель.

** Прокофьев А.А. (1900 — 1970), советский писатель.

чудо, — Юрка за бешеную гумму уговорил шоферов автобуса, идущего в другую сторону. И вот ночью, одни, в огромном пустом автобусе мчимся среди леса,— сказали им—35 км, обманули со временем, — едем, и мне все время кажется — не та дорога! Ни я, ни Юрка ночью тут не ездили. Она тянеться бесконечно и адски долго. Нервы — как струны. Почти в 2 ч. ночи все же добрались, угостили шоферов, затопили печь в моей комнате, сели перед огнем. Добежали! Навряд ли «они» приедут сюда, если не схватили по дороге. Но ведь может быть!..

Юрка сказал, — «никогда у меня не было такого физического ощущения удушья, смыкающегося кольца вокруг нас».

Легли поздно, спали тяжко, — от всех этих событий, сведений, этой кошмарной поездки, водки, — было ощущение нереальности жизни.

Утром я собрала завтрак, нарядилась, — выхожу к столу, говорю — «здравствуй, Юрик», — и вдруг вижу, что он, глядя в окно, — плачет, навзрыд, тяжко, истерически, и катятся огромные слезы, — и губы дергаются — первый раз в жизни вижу, чтоб так плакал мужчина, — так горько, обильными такими слезами, с такой беспомощностью и отчаянием.

У меня ноги подкосились, — думаю, сейчас скажет, что будет ребенок от Ю., или что-нибудь такое.

А он обнимает меня и плачет, плачет отчаянно.

— Я не могу, не могу, у меня чувство, что тебя уже отобрали от меня, уже разлучили нас. Вот уже руки к тебе протянуты, уже не вырвать тебя. Господи! Все, все, только не это, только не разлука — а я третий день хожу сам не свой и чувствую, — вот она, вот...

Я утешаю его (сразу откуда-то твердость и гордость в душе), а он цепляется за меня, целует мне руки и рыдает, рыдает в голос, страшно, истерически».

К счастью, опасения Берггольц не оправдались. Но даже если бы все обернулось иначе, она продолжала бы истово служить советскому искусству.

К сталинскому времени относится и попытка Бергольц стать официальной советской поэтессой номер один. Что это значит? То, что она представила в Совнарком свой вариант гимна Советского Союза. В январе 1944 года Совнарком постановил наградить поэтов и композиторов, участвующих в создании гимна СССР. В число награжденных (но не победителей!) после Демьяна Бедного попала и Бергольц.

Служу советскому искусству

Вслед за народным признанием к Бергольц пришло и признание официальное. Первой ласточкой такового стало избрание ее в декабре 1944 года (тайным голосованием) в состав нового правления Лен. Отделения Союза Советских Писателей. В него, наряду с Бергольц, вошли: А. Прокофьев, М. Лозинский, В. Саянов, С. Маршак, О. Форш, Т. Кожемякин, В. Лифшиц, В. Орлов, А. Ахматова, проф. Б. Эйхенбаум, Л. Рахманов, А. Дымшиц, Н. Никитин, Н. Браун, И. Крат, Е. Добин.

Новое правление, в свою очередь избрало Президиум ЛО в составе: А. Прокофьева, Т. Кожемякина, О. Бергольц, Л. Рахманова, И. Никитина, А. Дымшица, В. Саянова. Председателем ЛО ССП был избран А. Прокофьев, секретарем — Т. Кожемякин.

Не обошли ее и наградами: сначала таковой стала Сталинская премия II-ой степени, затем орден Ленина.

В 1945 победном году ее известность перешагнула порог Советской России: некоторые стихи Бергольц были переведены на английский язык и изданы в Англии, в сборнике советских поэтов «Путь на запад».

В следующем, 1946-м году в Москве состоялся вечер поэтов Москвы и Ленинграда. На этом большом вечере поэзии в Колонном зале Дома союзов под председательством Н. Тихонова читали свои стихи: А. Сурков, П. Антокольский, А. Ахматова, В. Инбер, О. Бергольц, Н. Тихонов, С. Михалков, Б. Пастернак, Н. Браун, М. Дудин и другие.

В 1968 г. награждена орденом Ленина.

Корреспондент газеты «Москоу Ньюс» (№ 14 от 6.4. 68 г.)

писал:

«Она была возбуждена и нервна, когда в переполненном зале пошла получать награду.

Председательствующий вручил ей красную коробочку с орденом <Ленина>. Огромный зал взорвался от аплодисментов. Когда она повернулась к залу, сразу же воцарилась тишина. Я вспомнил, что где-то слышал, что в молодости Ольга Берггольц приносила клятву: «Я на всю жизнь останусь настоящей революционеркой, как Ленин».

Я подумал о нелегкой жизни этой женщины. Она работала на тракторном заводе в Ленинграде <вероятно, Электросила – авт.>, была корреспондентом газеты в Казахстане, прошла километры и километры дорог, таких же тяжелых, как и дороги войны. Потом началась война. Она жила в маленькой нетопленной комнате, где окна были забиты фанерой.

В зале было тихо. Ольга Берггольц провела тыльной стороной ладони по губам.

«Я служу советскому искусству», – сказала она, отчеканивая каждое слово. Затем прижав руку к сердцу, она низко поклонилась аплодирующим людям».

Слово поэтессы было переложено и на музыку, звучавшую в лучших концертных залах Ленинграда.

22 января 1965 года в Большом Зале Филармонии симфоническим оркестром Филармонии (дирижер А. Янсонс) и Ленинградской Академической капеллой им. М.И. Глинки (худ. рук. А. И. Анисимов) была исполнена «Ленинградская поэма» композитора Г. Белова на стихи Берггольц – оратория для чтеца, смешанного хора и симфонического оркестра.

Она долго шла к этому. Слава ее ковалась среди военного грома пушек и встречала препятствия. *Первый упрек* некоторых современников к Берггольц был таков: слишком мрачно, пессимистично пишете!

Этот упрек имел основания.

Откроем стенограмму обсуждения в ВТО пьесы О. Берггольц и Г. Макогоненко «Они жили в Ленинграде»:

Берггольц: «Невидимый для героев и зрителей враг — обрек город на смерть. Немец не появляется на сцене. Но образ врага — НЕЧЕЛОВЕКА все время присутствует.

...У нас все время путают — оптимизм и смешное, и обязательно ставят знак равенства между весельем и счастьем, между радостью и счастьем. Мы в Ленинграде убедились, что далеко и далеко это не всегда так. Были минуты счастья, в которых не было ровно ничего радостного, веселого или смешного.

...Неповторимый, трагический и ослепительный Ленинград зимы 41 / 42 года, его леденящее дыхание, мрак, молчаливость».

Бедственное ленинградское жилье, к которому вели ступени, вырубленные изо льда, «и только какие-нибудь чугунные перила напоминали о том, что это — человеческий дом. Потоки воды из лопнувших труб неслись по лестницам и застывали на них — волнами, гигантскими сосульками». Жилье — «на верхнем этаже, кусок крыши снесен снарядом, в рваную дыру видно небо, облака, звезды...»

Это — «почти край неба, странная пустыня, одичалое жилье». Комната — «сквозь большое, цельное окно, закрашенное белыми бумажными полосками, может быть виден Петербург — с его шпилями и колоннами. ...в ту зиму, как назло, город был невероятно красив; он стоял весь в инее и такие ослепительные розовые и голубые и золотые — сияющие краски лежали на его чистейшем снегу и инее — что мы все только поражались. Конечно, это во многом зависело от того, что не было в городе дыма — ни фабричного, ни — почти что — жилого. Эту ослепительную, но какую-то даже зловещую, похожую на пышный траурный убор — красоту города запомнили все ленинградцы. Она уж слишком поражала при индусских, черных лицах закутанных страшных фигурок и бесконечной веренице гробов и «кукол» — запеленутых в белые

простыни мертвцевов. Вот такой Петербург – Ленинград – похожий на изваяние, облитый негреющим, но ярким солнцем...»

Общежитие – «сочетание довоенной жизни – богатой и несколько беспечной – с военным бедствием, с блокадой – как бы два диапозитива наложены друг на друга... В те времена существенной деталью обстановки подобных общежитий были ширмы. Люди приносили их из дома, отгораживали ими себе уголки».

Из этого описания Бергольц мы видим, что, родясь она в другое время – и превзошла бы саму Ахматову мрачной мистичностью.

Из упрека в пессимизме вытекали и некоторые правки ее сочинений, бесившие Бергольц.

Так, сценарий «Ленинградской симфонии» (авторы Бергольц и Макогоненко) был отдан в сентябре 1944-го на рассмотрение редсовета одного из ленинградских театров, который в целом принял пьесу, хотя и предложил внести в нее ряд незначительных поправок. Часть поправок была внесена авторами, другая часть – неведомым лицом (или лицами), и в таком виде сценарий был возвращен авторам. По прочтении его, в том же, 1944-м году, Бергольц и Макогоненко обратились к Ивану Борисовичу [Астапову] со следующим письмом:

«Мы до глубины души возмущены и оскорблены всем, что произошло с нашим сценарием в вашей студии. <...> ...воспользовавшись нашим отсутствием, кто-то – мы не знаем, кто – не согласовав с нами буквально ничего, не поставив нас в известность даже по нашем приезде – кто-то так «выправил» и «отредактировал» наш сценарий, что в результате получилась совершенно другая вещь, искажающая весь наш замысел, вещь кастрированная, из которой вымаран целый ряд самых драматических сцен, все острые описания, изъят целый ряд существеннейших линий, видоизменено поведение и даже характеры героев, и ПРЕЖДЕ ВСЕГО, выброшена как раз та правда блокады, та суровость и показ испытаний, в отсутствии которых

упрекали нас на заочном для нас совещании редколлегии. Вы, в частности, говорили о «каиновой печати оглядки на материал», — это справедливо по отношению к варианту, ПОДСУНУТОМУ членам редколлегии. Да, именно каинова печать стоит на нашем сценарии, — но эта печать наложена на него в Вашем учреждении. Мы не понимаем только, как у студии хватает элементарного человеческого стыда, — сначала потихоньку от авторов покалечить, кастрировать, опошлить вещь, начисто лишить ее правдивости и остроты, а потом ничто же сумняшееся вручить ханжеское письмо с поучением, что они «обязаны со всей силой и правдой показать испытания, выпавшие на долю советских людей, и не уходить от этой правды». Да ведь это же цинизм, не имеющий образца, просто гангстерство какое-то».

Второй недостаток, который ставили ей в вину современники — неряшлисть стиха.

Поэт П. Антокольский, ее друг и поклонник, в статье «Поэзия после войны» (начало 50-х годов) не без основания писал:

«Произведения Ольги Берггольц не безошибочны. В них есть срывы, которые можно объяснить и спешкой, и неряшлистью, и недостатком вкуса, и невниманием к языку. ...Всему творчеству Берггольц присущи недостатки в технике мастерства».

Но массовый читатель все прощал поэтессе за ее страсть — и был, конечно, прав.

Третий упрек: Бергтольц «заморозила» себя в блокадной теме.

Отголоском такого упрека была эпиграмма на Берггольц в одной из книг середины 50-х годов.

Рядом с поэтессой, изображенной в кольцах сигаретного дыма, было помещено:

О, Ольга, на берегах Невы
С блокадою боролись вы.
К чему ж сидеть вам в окруженье
Блокады самовыраженья?

Вопрос этот задавали не только смеха ради.

В 2010-м году мы знаем на него ответ.

Сегодня, в год столетия со дня рождения поэтессы, и в 35-й год со дня ее кончины мы знаем Берггольц в первую очередь — как блокадную Музу. Она и в самом деле вмерзла в неповторимый ленинградский лед.

Зададимся и таким вопросом: могла ли Берггольц в 40-х годах стать не блокадной, но всесоюзной (всероссийской) фронтовой поэтессой? Кажется, такая возможность у нее была. Фадеев предлагал ей литературную поездку по всем фронтам — но она отказалась — вероятно, из-за боязни потерять Макогоненко. А если бы не отказалась? Полагаем, что она все равно бы осталась ленинградской музой блокады. Главным образом потому, что «февральский дневник — ее потолок», который не дано было ей превзойти или даже достигнуть повторно. Слова о потолке взяты из ее дневника — и мы верим им. Иными словами, Берггольц не дано было создать ничего иного, кроме ленинградской темы — но и за это мы ей благодарны.

Она могла покинуть Ленинград, причем навсегда (например, уехать к сестре в Москву), но всегда стремилась в этот город — гибельный, окольцованный, блокадный.

Из письма сестре от 25/IV — 42 г.:

«<...> А вообще, можешь передать Ставскому, и всем, кто уговаривал меня остаться, что мой приезд в Ленинград имеет просто политическое значение — я сама этого не ожидала совершенно. Надо видеть, как меня встречают люди в СП, на радио; у них изумленные лица, сначала недоверчиво — «как, вы вернулись? Надолго?» — «Совсем, жить и работать». Тогда начинают улыбаться — «как, из Москвы, из-за кольца, опять в кольцо... Так, значит, не так уж у нас страшно, если люди возвращаются. Так значит и лучше будет». И на лицах — надежда. Мне непрестанно говорят — «как это здорово, что вы вернулись, как это хорошо, нет, значит у нас что-то действительно замечательное, раз люди возвращаются». А я рассказываю им,

как бесконечно уважают ленинградцев за кольцом, как смотрит на них вся страна, как жаждет им помочь. И людям легче. Говорю тебе совершенно серьезно, что я никак не ожидала, что будет такой общественный резонанс. Я ведь, собственно говоря, первый и единственный человек, вернувшийся в кольцо. Другие уезжали в «командировки» и не возвращались. Авторитет у меня вырос сразу на сто процентов. И эти радостные приветствия — решительно ото всех, и от писателей, и от населения «слезы»... Я пишу целую передачу, я напишу там о Ленинграде за кольцом, я напишу им, какое отрадное впечатление производит город на человека, перезимовавшего в нем и вернувшегося сюда из отлучки. Пусть они сами на себя полюбуются. А какие тут новые, открытые ребятами, люди! Какая отрада работать для них...»

И воины Ленинграда навсегда запомнили эту хрупкую женщину и могли сказать о ней словами поэта Анатолия Чивилихина, вынесшего в эпиграф стихотворения о Берггольц ее слова: Частицей сердца благодарны... —

Но снайпера и командармы,
Ожесточенные войной,
Частицей сердца благодарны
Сердечной женщине одной.

Что говорить могла с народом
О нас о всех, как о себе,
Ревнивая к его невзгодам,
К его страданьям и борьбе.

Сохранился пригласительный билет для Берггольц на традиционную встречу участников боев на Невском плацдарме 20 сентября 1970 года. Организаторами выступили — совет ветеранов, администрация, партбюро и завком Дубровского ДК, Совет музея боевой славы.

Программа:

Митинг у обелиска.

Собрание в ДК пос. Невская Дубровка, выступления участников боев в ДК и музее.

Худ. часть. Встреча однополчан по частям.

На пригласительном билете написано от руки: гвардия ждет свою любимую поэтессу.

Она воистину была любимой.

Но вернемся к службе советскому искусству.

Служить советскому (как и любому другому) искусству можно было по-разному. Она честно служила советскому искусству, в отличие, скажем, от литератора Германа.

Из дневника:

<24/VIII – 47>

«Как-то (тоже во время пьянки у него на даче), мы остались с ним <Германом> одни, и вдруг он бросился на меня с кулаками и поцелуями, с декларациями «любви», — «ты моя и только моя женщина», с клеветой на Юрку, что он якобы мне изменяет, и что есть один истинно любящий меня человек — это он, Герман. Меня ни на минуту не обманул этот пьяный пафос, за которым нет почти ни грамма правды, кроме, пожалуй, той, что мы действительно всю жизнь, с тех пор как знаем друг друга, негласно состязаемся в образе жизни, особенно литературной, и я иду путем абсолютно иным, чем он, — т.е. путем, на котором я откинула всяческие помыслы о карьере и богатстве, путем честной работы, писания только того, что я думаю, и во что верю, а у него путь — совершенно противоположный, и он не может простить мне этого... Он понимает, что его путь отвратителен, и все время пытается оправдать его тем, что якобы «если ни о чем всерьез писать нельзя, надо писать так, как Симонов и Вирта». Эта декларация «погасим фонарики» — мне претит. Лучше уж на каторгу».

«Ох, как же прорваться к трагедии, к утру у колодца? И так взаимно ревнивы — «бедная, нищая скучность безвыходной жизни

моей» — и она, трагедия, что временами на фоне жизни кажется мне она сплошным ненатуральным вывертом... Так временами далеки друг от друга две струи внутри меня, два течения моей жизни. Кто-то, гадая мне по руке, сказал о двух линиях жизни, параллельных и нигде не пересекающихся. О том же говорил один человек, анализируя почерк... А я это знаю сама. И вот, — очень ясственно чувствую это теперь, с трагедией. Вернее — трагедия не одна. Другая жизнь, где-то обе жизни, глубоко под почвой вдруг сливаются, но даже я сама не могу точно определить, а только смутно чувствую это...»

Эту двойственность положения ощущала не только сама поэтесса, но и ее читатели.

После смерти вождя появился самиздатовский сборник, возможно адресованный иностранным читателям. В нем были стихотворения Берггольц, в том числе и «крамольные»: «На собраны целый день сидела...»; «Нет, не из книжек наших скучных...»; «Дни проводила в диком молчании...». Любопытно, что в сборнике Берггольц соседствовала с нелюбимыми ею молодыми поэтами — Вознесенским и Евтушенко. Замыкало сборник стихотворение Бродского «о еврейском кладбище около Ленинграда». С последним Берггольц виделась, как минимум, один раз — на похоронах Ахматовой.

Вероятно, двойная жизнь Берггольц окончательно оформилась со смертью Молчанова. В одной ее половине была правда, доступная только дневнику поэтессы; в другой — полуправда или полуложь ее официальных творений. Светлая половина ее души за свое выживание вынуждена была платить страшную дань темной своей половине — ложью, психозами, нервными срывами, запоями.

Из дневника. Конец 40-х:

«Спаси меня! Снова к тебе обращаюсь
Не так, как тогда — тяжелей и страшней:
С последней любовью своею прощаюсь,
С последнею правдой и верой своей...»

К кому она обращалась? К Отцу Небесному? Верила ли она в Него?

<9/4-42>

Я несчастна в полном, абсолютном значении этого слова.

Сегодня все время приступали — видение Коли во второе мое посещение госпиталя на Песочной — его опухшие руки, в язвах и ранках — как он озабоченно подставлял их сестре, чтоб она перевязала их, и озабоченно бормотал, все время бормотал, мешая мне кормить его, расплескивая драгоценную пищу. И я пришла в отчаяние, в ярость и укусила его за больную, опухшую руку — о, сука, сука! Он был неузнаваемо страшен — еще в первый день, в день безумия он был красив, а тут — вдруг не он, хуже, чем во сне.

Мне нельзя жить. Это все равно не жизнь. Я оправдываю свое существование только тем, что слишком уж широк выбор гибели. Я, наверное, не долго просуществую — все как-то помимо меня логически идет к этому — сокращается и сокращается жизнь, сжимается — как шагреневая кожа — и вот человеку остается только одно — умереть; и если человек видит и знает, что она сокращается — это ужас, этот человек несчастен.

В душе у меня сократилось очень и очень многое, она ссыхается. Я погружаюсь в себя, становлюсь равнодушной к людям, или воспринимаю их только через себя — вот как сегодня такого же несчастного, как я, Юльку Эшмана. Он потерял жену, отца — теперь, видимо, мать и брата.

— Как ты живешь, — спросила я его.

— А я не живу, — ответил он. — Если живу, то только дочкой.

Мы сидели с ним в троллейбусе, плечом к плечу, и говорили — он о жене, я о Кольке. Оба чувствовали себя глубоко виноватыми перед ними, и я на мгновение ощущила всем существом, что у нас совершенно одно горе.

— Как ты думаешь — изменится ли что-нибудь после войны, — спросила я его.

— Месяца два-три назад думал, что изменится, а теперь, приехав в Москву, вижу, что нет...

Вот и у меня такое же чувство!

11/4 - 42

Была на заводе № 34, в трех цехах читала и говорила о Ленинграде — рабочие очень хорошо слушали, этот день доставил какую-то хорошую отраду. Они написали письмо в Ленинград.

Сегодня был вечер в клубе НКВД. Читала «февральский дневник» — очень хлопали, так что пришлось еще прочитать. «Письмо на Каму» — тоже хорошо приняли. Что ж, среди них тоже, наверное есть люди — а в общем, какие они хамы, какими «хозяевами жизни» держатся — просто противно. Но к этому надо относиться спокойнее.

12/4 - 42

Живу двойственno: вдруг с ужасом, с тоской, с отчаянием — слушая радио или читая газеты — понимаю, какая ложь и кошмар все, что происходит, понимаю это сердцем, вижу, что и после войны ничего не изменится. Это — как окна в небе. Но я знаю, что нет другого пути, как идти вместе со страдающим народом, хотя бы все это было в конечном итоге — бесполезно.
<...>

Вчера объявили сталинских лауреатов. Это мероприятие ничего общего не имеет с искусством. И сколько возле него возни, оскорбленных самолюбий, интриг... И за что награждают! Рядом с титанической Седьмой симфонией, и её — больше всего.

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу!*

* Из стихотворения Пушкина «Друзьям» (Нет, я не льстец, когда царю...) за 1828 год. Стихотворение оканчивается так: А небом избранный певец / Молчит, потупя очи долу. Вероятно, под «избранным певцом» Ольга подразумевала себя — и не напрасно!

Только бы они догадались пожертвовать все свои деньги в фонд обороны. А то народ будет очень раздражен — и не без справедливости. Нет, в таких условиях искусство будет только хиреть. Оно должно быть совершенно независимо. Этот «непроповеданный абсолютизм» задавит его окончательно. Эти премии — не стимул, а путь к гибели иск-ва.

Как хорошо, что я — не орденоносец, не лауреат, а сама по себе. Я имею возможность не лгать, или, вернее, лгать лишь в той мере, в какой мне навязывают это редактора и цензура, а я и на эту ложь, собственно говоря, не иду.

Лауреаты сегодня пишут — меня никто не позвал — ну, и не надо.

Зато рабочие завода № 34 принесли мне письмо для ленинградцев. Я на днях пойду в детдом, где собраны ребятки из быв. оккупированных районов, почитаю им «Рассказ об одной звезде», поговорю.

<...>

«О стихотворении: Отчаяния мало, скорби мало...»

О, как я глубоко, глубоко жалею, что не была с ним <Н. Молчановым — авт.> в его последние минуты! Он наверняка пришел в себя (доктор сказал — «скончался тихо»), он ждал меня, и я проводила бы его с улыбкой, счастливым, успокоенным...

Так пусть же со мною будет все дурное, что может быть!

13/4 — 42

Вообще все смотрят на меня как на дуру или на героя — заозвращение в Ленинград — чудачьё!

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман*.

* Из стихотворения Пушкина «Герой» (В начале жизни школу помню я...) за 1830 год. Вероятно, Берггольц импонировали заключительные строки стихотворения, которые она относила к себе самой:

Да будет проклят правды свет,/ Когда посредственности хладной,/ Завистливой, к соблазну жадной. / Он угрожает праздно! — нет!

От отца с З/IV нет вестей. Может быть его уже нет в живых, погиб в пути, как погибают тысячи ленинградцев? Ленинград настигает их за кольцом. У Алянского^{*} в пути умерла жена, здесь — в Москве — сын. А почтенное НКВД «проверяет» мое заявление относительно папы. Еще бы! Ведь я могу написать, я могу «не знать всего» о собственном отце — они одни все знают и никому не верят из нас! О, мерзейшая сволочь! Ненавижу! Воюю за то, чтобы стереть с лица советской земли их мерзкий антнародный переродившийся институт. Воюю за свободу русского Слова — во сколько раз больше и лучше наработали бы мы при полном доверии нам! Воюю за народную советскую власть, за народоправие, а не за почтительное народосодействие. Воюю за то, чтоб честный советский человек жил спокойно, не боясь ссылки и тюрьмы. Воюю за свободное и независимое искусство».

В ее душа накапливалась усталость от смерти «общей идеи»; из нее же вытекала подспудное ощущение бессмыслинности прожитой коммунистической жизни — но с этим Берггольц не могла смириться.

Из дневника:

«Хлопотали, жили, строили новое общество, жертвовали, и вдруг поняли, что ничего в нем нет, ничего нельзя сделать, потому что ничего не было и нет вообще. Искупленья нет и не может быть. Жертвы ничем не могут быть оправданы.

Долга тоже нет. Перед кем должен, и главное — почему должен.

Движение происходит по замкнутому кругу.

Все повторяется, смена форм и только.

Количество добра и зла, благородства и подлости навсегда уравновешено.

Что же делать? Тупик. Тупик-с?»

* Алянский С.М. (1891 — 1974), издатель, мемуарист.

«...Физически чувствуя себя ничего, морально убийственно. Полна какого-то исступленного раздражения на все и на всех, что сменяется глубоким угнетением. А тут еще неудовлетворенная в половом отношении кошка орет и днем и ночью и невозможно ее выбросить, — т.к. на смену ей немедленно появятся легионы наглых крыс. Юрка завтра едет в Териоки, боюсь, не подорвался бы там на чем-нибудь — у нас «последний крик моды» — ленинградские мальчишки ездят на окраины нашего героического города, подрываются или там, или — набрав полный ассортимент гранат, мин, патронов — подрываются в собственных дворах, развинчивая и поджигая все эти милые штучки. Четыре дня назад чуть-чуть не погиб сын Маруськи Машковой — и то только потому, что она вовремя позвала его домой, оторвав от развинчивания какой-то особой мины, чем он был занят втроем с другими мальчишками. Те, конечно, были разворочены во всю.

Приезжай скорей. Мы съездим с тобой за Невскую, погуляем там по пустырям, оставшимся от прежних невско-заставских улиц (мин там нет). Кроме того, может быть как раз в это время приедет Александрина. Можно будет также показаться в нашем (предупреждаю — гавенном) драматическом театре.

Получили сегодня номер «Знамени» со сценарием. Там масса опечаток и две абсолютно идиотских «поправки». Впрочем, братья-писатели говорят, что наше неудовольствие по поводу этих двух поправок — просто наша избалованность и разврат, и что мы просто должны быть счастливы, что «такая вещь» прошла. Жалкая нация — и т.д., как говорил Чернышевский*.

Получила также «Октябрь». В ярости. Вот там, действительно, пообдергали мне статейку — выступление на пленуме. Может

* Цитата из ленинской статьи «О национальной гордости великороссов»: Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы».

быть даже буду писать протест в «Литературку», так ведь не напечатают, гады.

Ах, как все скучно!»

Слава Бергольц имела, как и всякая слава, и курьезные последствия: До наших дней дошел составленный рукой поэтессы Дневник писателя, в котором она (вероятно, после войны), описывала вот что:

«Не в порядке подготовки будущей биографии, а просто для смеху надо было бы написать некоторые курьезные легенды обо мне, дошедшие до меня.

Многое уже позабыла, но вот некоторые.

1. Какая-то из моих читательниц переписывалась с одним (неизвестным ей) военным. *Она выдавала себя за меня*, за поэтессу Бергольц. Переписка, видимо, была интенсивной, т.к. дело дошло до предложения руки и сердца (заочно) со стороны военного. Это было обнаружено моей сестрой Олей Молчановой, когда она находилась у своей знакомой, и той принесли почту, среди которой находилось письмо на мое имя, но на адрес их дома, квартирой выше. Заинтересованная Оля прочла письмо, в котором военный горько жаловался, что «я» прекратила с ним переписку в тот момент, когда он собрался приехать жениться на «мне», и спрашивал, как же ему теперь быть, ехать или не ехать и выйду ли «я» за него замуж...

2. Славка Июльский передавал мне в начале 43 года привет от одного командира с «дороги жизни», который уверял его, что он меня «хорошо знает», что я долго жила на «дороге жизни». После чего написала «Ленинградскую поэму», где описаны факты, которые он мне рассказывал. Я ни одной минуты не была на дороге жизни, никогда за всю войну.

3. Васька Ардаматский* рассказывал, как однажды в их компанию в ресторане «Москва» подсели военные летчики, и

* Ардаматский В. И. (1911 – 1989), советский писатель.

один из них рассказывал ему, Ваське, как я гостила у них в части и описывал ему мою внешность. Очень высокая, необыкновенной красоты, черноволосая, волосы заложены короной, очень грустные черные глаза. О моем поведении в их части летчик отзывался очень похвально: «ребята, разумеется, все ухаживали, но она никому ничего...» Это очень лестная легенда, особенно трогательно, что я – красавица-бронетка. Впрочем, большинство читателей так себе меня и представляют: черной, высокой, «большой» женщиной, и, к примеру, старой. Один майор, после того, как увидел меня на вечере, писал в стихах, начинавшихся так: «Я представлял тебя брюнеткой черноокой с классическими формами лица». Правда, стихи заканчивались признанием существующей, гораздо более скромной внешности, и было даже резюме: «...и понял я – тебе не надо ни худобы ни черноты». <...>

Вообще, читатель, не видевший меня, имеет обо мне представления самые неожиданные; так, один читатель, откуда-то издалека, прислал письмо в стихах, где описывал, как я живу: окна моей квартиры выходят на Неву, в комнате – «белоснежные колонны» и античные статуи, какие-то вазы, «облокотясь» на которые я пишу свои стихи... Я иногда вспоминаю это, когда иду по нашей чудовищной лестнице к себе в квартиру.

Занятно, что никто в письмах у меня никогда не просил денег...».

Многочисленные читатели не забывали ее: в том числе и эпистолярно. В открытках 60-х годов (новогодних и не только) мы находим следы читательской любви к ней. Например такие:

Оля, дорогая!

Пусть сияют в Новый Год дневные звезды! Это наверное про них поется в рождественском ирмосе: «воссия мирови свет разума. Небо звездам служащее и звездою учахуся.

Спасибо тебе, что ты научила людей видеть их.

...
Твои друзья и поклонники
Ирена, Сергей, Наташа <Гурская>

Или:
Вы у нас такая одна!
Л. Кузьмина и др. «пушкинодомцы».

Все, что вы пишете, прекрасно.
Ред. газ. Электросила.

Будьте такая, какая вы есть.
Н. Макаров

Помним, любим и радуемся Вашим успехам.
Воронцовы

Большой поэт нашего большого времени
Ваш неизменно Федор Никитин.

Окончим эту главу следующим сообщением газеты «Вечерний Ленинград» от 12 июля 66 года о большой программе русской поэзии: в переполненном зале Консерватории прозвучали стихи Берггольц и Ахматовой – в первом отделении; Цветаевой – во втором.

Берггольц была свыше послана статью триумвира русской женской поэзии XX-го века.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЛЮБОВЬ

Песня о встречном (Борис Корнилов)

По словам Берггольц, Борис Корнилов был первым ее мужчиной. Она познакомилась с ним в начале 1926 года в литобъединении «Смена». Свадьбу сыграли в январе 1928 года. 13 октября от этого брака родилась дочь Ира Корнилова. Как писала Берггольц, «брак был коротким и недолгим». В январе – феврале 1930 года молодожёны развелись, причем инициатором развода выступила Ольга.

Читаем Автобиографию поэтессы:

«Влюбляться я начала рано, еще в школе. Влюблялась пылко, «всерьез», «навеки», очень переживала, очень романтизировала. В существовании настоящей любви была твердо убеждена и считала, что между комсомольцами и коммунистами может быть только такая любовь, – с полным доверием, с общими интересами, строгая, чистая, без «отклонений». <...>

К моему полному и, разумеется, приятному удивлению в институте и в литгруппе «Смена» у меня появилось много «ухажеров», поклонников, влюбленных и т. п. Я говорю – «к удивлению» – потому что с детства была убеждена, как и вся семья, что «Муся – красавица, а Леля просто умненькая». В последних классах школы очень страдала (даже будучи комсомолкой!), что у меня вздернутый нос, – «курносая» (мама признавала только «античную красоту»), летом бывают веснушки, белобрысая и т. д. Однако у меня до сыпняка, до конца 29 г., были огромные волосы чудесного цвета, и сейчас, глядя на свои фото того времени, я вижу, что не была так уродлива, как мне казалось. К тому же я была общительной, очень веселой, острой на язык, отлично знала русскую поэзию и т. п.

В литгруппе «Смена» в меня влюбился один молодой поэт, Борис К. <орнилов>. Он был некрасив, высок ростом, малокультурен,

но стихийно, органически талантлив. В литературных кругах до сих пор помнят его и его стихи. Вел он себя и писал в есенинском направлении, а поэзия Есенина шла тогда через меня с необычной остротой и силой. Был очень настойчив, ревнив чудовищно, через год примерно после первого объяснения я стала его женой, ушла из дома. <...> Продолжала учиться и писать, — жить на свои деньги я начала с 17 лет. Первые книги принесли Борису шумную известность в лит. кругах, и эта известность подействовала на него ужасно. <...>

Я разошлась с ним просто-таки по классическим канонам — отрывал от комсомола, ввергал в мещанство, сам «разлагался». Я вернулась в родительский дом, где умерли бабушка и дед, а мать разошлась с отцом, заявила отцу, что мать беру на себя, а Борису, чтоб он не смел и думать помогать мне в воспитании Ирочки, дочки. Разрыв с Борисом перенесла без особой травмы: была захвачена учебой и комсомольской работой в университете, и, главное, сразу по переходе в университет увидела Николая Молчанова и с первого взгляда решила, что вот это — он, тот самый, мой*.

Сохранились письма Берггольц сестре Марии ее замужнего за Корниловым периода.

Приведем два характерных отрывка из них.

«15/VIII — 29

...Все ходила по лесу и скучила — «быстро, увы, проходят дни счастья!...»

Кажется, не фальшивила. Все мне представлялась ты, в столовой нашей. Почему-то как приходишь ты откуда-нибудь. Муська, помнишь, как мы гуляли с тобой по Барской Ниве, совсем маленькие, играли; помнишь гать через болото, светлое такое... Потом помнишь за этим болотом лесок с красными...

А Глушино? А прогулки с Ермоловым, с Пашкой — луна, поля темные...

Муська, я вспоминаю все это, и у меня сейчас сердце щемит... Как все это невозвратно! Уж мы совсем другие, у меня ребенок,

муж... Ты уже девушка, тоненькая и чернобровая. И волнуют тебя уже сложные, мучительные вещи...

Как быстро, как быстро...

Вчера ходила по лесу, ела бруснику (лес у нас совершенно изумительный) и жизнь, знаешь, сделалась какая-то сквозная, когда видишь прошлое, и предчувствуешь будущее, ощущаешь себя и как-то весело и грустно...

...Пройдет моя весна,
И этот день пройдет,
Но радостно бродить,
И знать, что все проходит...*

Все это лирика... Но как-то хочется написать тебе об этом...
Тайно мечтаю о Ленинграде, о встречах...
Звонила ли вероломному Коле?* <не Молчанову ли? – авт.>
Где он, стервочка?..

31/VIII – 29

<...>

Ты писала один раз, что боишься «потерять себя». А знаешь, с болью я иногда ощущаю эту свою потерю! Ведь себе я уже принадлежу мало. Тяготение *иной* воли заставляет думать об опустошении внутреннем. Мучат меня все эти вопросы, конечно, в отношении себя. Кажется иногда, что я – безвольность, опустошенность. Но иногда натыкаешься на какую-то упругую пружину в себе и ощущаешь, что это – воля. Да многое можно наговорить, но лучше не вдаваться в дебри рефлексов. Как я на дневник смотрю? Я уже писала тебе, что этим летом не веду дневника. Причины – невозможность вести его без контроля Бориса. Но дневник я люблю; и вести его буду – только надо устроить так, чтобы он помогал самоорганизации, а не дезорганизации. <...>

* Из стихотворения И. Бунина «Лесная дорога» (1902 г.)

Живем скучно. Читаю — прочла несколько неплохих книг.
Кончила рубашку — ну и цветистость!

Муся, какой Борька иногда бывает черствый, нечуткий, чужой...

Неужели он сплошь такой? Больно это как...

Красивая ты! <о фото сестры>

За окном ветер свистит, свистит... Хоть бы к вам поскорее, к родным моим... Тоска чего-то».

Приведем и письмо мужа Бергольц.

В рукописном отделе Публичной Библиотеки Санкт-Петербурга хранится неизвестное письмо Б.П. Корнилова Бергольц как раз за описываемый нами период ([1933] год).

Вот что писал ей Корнилов красными чернилами на трех листах калькированной бумаги.

«Ляля!

Получили твое письмо, адресованное папе. Папа счел нужным (и надеемся оказался правым) познакомить с его содержанием нас. Печальное письмо, Ляля, Жалко Майю. И очень нехорошо ты написала, что дескать пускай Борис теперь не беспокоится, что его деньги пойдут на другого ребенка. Если тебе не стыдно за эту больше чем пощечину, то, как говорится, бог с тобой. Это на тебя похоже. Но об этом потом. Сейчас мы вместе с тобой... О Майе. Милая, хорошая была девочка.

Теперь о том, чем продиктовано все письмо к папе. Да, я знаю, что больше чем нехорошо относился... не к тебе, а к Иринке (это самое страшное). Ляля — я уехал в полусознании (не потому что я был пьян — не ухмыляйся), а потому что я задыхнулся от работы. Ты думаешь, те тыщи, о которых ты пишешь, мне даются за карие глаза? Ну ладно. Я старею, становлюсь немножечко умнее, но свою безалаберность все-таки никуда деть не могу. Поэтому когда я тебе говорил о том, чтобы ты подала в суд — я был прав. Потому что эта официальность привела к тому, что с меня по исполнительному листу регулярно вычитали энную сумму, необходимую для лучшего жития Ирины.

И мне бы было легче и лучше. Но опять-таки это все потом. Жалко, что мы с тобой *теперь* не можем договориться с глазу на глаз. А письмами меняемся редко. Но сейчас я тебя прошу, как и раньше, взять инициативу в свои ручки. Помнишь — ты *сама* развелась со мной. А ведь я до сих пор не удосужился исправить свой документ. Так до сих пор ты и числишься моей женой. Безалаберность, Ляля — безалаберность.

Но заговаривать зубы я тебе не намерен. Практически — следующее. Я уехал сюда в надежде, что в Москве я получу деньги. Не получил. Приехал сюда — мрачный и безденежный. Поэтому прошу тебя по товарищески — сходи к Есеву и от моего имени скажи ему, чтобы он перевел мне деньги телеграфом. Он знает, сколько, я ему писал. Сразу же я посылаю тебе любую половину. А по приезде моем в Ленинград я надеюсь, что мы поговорим и очень поговорим и договоримся. Пора уже, Ляля. Стареем.

У нас очень плохие с тобой отношения. Их надо перемнить. Ведь ты же партийка и понятия о семье у тебя самые умные. А ведь я, как ни верти, все же у тебя в семье (как и кавказский красавец твой, что проживает во Владикавказе). Ну ладно...

В это письмо я вложу записку Есеву. Надеюсь, что ты устроишь мне деньги. Ругайся и ещё раз ругайся. Хотя помоему и ругаться не придется.

В Семенове очень плохо. Пуд хлеба стоит 150 р. Пуд это 40 фунтов — около 15 кило. Люся подсказывает, что 16 кило.

Отец уехал в дом отдыха. У мамы гостят племянницы — Шуркина дочка — изумительная девочка.

Ну пока. Я здесь буду до 8 июля — так что ты сразу же по получении сей эпистолии сходи в ГИХЛ. И я клянусь, что приду получить деньги на почту, отойду к другому окошечку для перевода тебе.

Привет Марье Тимофеевне. Большой привет Коле. Как он? Не думай, что это письмо — так просто. Это честное письмо.

Я вообще письма редко пишу.

Борис Корнилов.

P.S. Конечно целуй Ирочку. Поправляется?

Стыдно мне, Ляля».

В начале 1938-го года Корнилов был расстрелян как «враг народа». Спустя почти 20 лет его дело было пересмотрено Военколлегией Верховного Суда СССР. 5 января 1957 г. приговор от 20 февраля 1938 г. в отношении Корнилова Б.П. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Корнилов Б.П. был реабилитирован посмертно. Возможно, это произошло по запросу Берггольц – справка о получении свидетельства о смерти Корнилова из Военколлегии адресована ей.

Она немало сделала для возвращения своего бывшего мужа в большую поэзию.

...Есть малоизвестные романтические стихотворения Берггольц, посвященные Корнилову. Мы приводим их ниже.

Ноябрьский май

Б.К.

I

Стал ноябрь, как шалый май,
В небе стаял свинцовый сплав...
— Этот май я сама, сама
В замирающий сквер привела.
Смотрит май из-за черных лип,
Той же радостью губы ласкает...
А под ноги листья легли,
Что росли в настоящем мае.

Да, ноябрь совсем как май.
 И напрасно с ухваткой лисьей
 Подползает осенняя тьма
 По совсем омертвелым листьям...
 – Май мой милый, ноябрьский май
 Не спугнет ни дождик, ни мгла,
 – Ведь его я сама, сама
 В замирающий сквер привела...

14 / XI – 26 г.

Старый фонарь

Б.К.

Я нынче устала и больно плечу
 И даже печаль черней...
 Я по окрайне пройти хочу, –
 По милой окрайне моей.
 Застава, застава! Тебя я знаю
 С первых моих дней...
 За эти годы
 ты стала иная:
 Радостнее и стройней.
 Но между новых домов и арок,
 Заборов и фонарей,
 Я знаю фонарь:
 Он старый-старый,
 Он всех в переулке старей.
 Наверно, весной его сроют,
 Он так горбат и нелеп...
 Пьяный, вышел когда-то из строя,
 Да так и завяз в земле.
 Он грустен и тих,
 Как уставший звонарь,
 Звонивший с вечера до утра.

— Я знаю, вам скучно, товарищ фонарь,
Вы даже стонали вчера.
Я думаю, мы должны утешать
Старых таких, как вы...
У наших колен летит пороша
Легче ковыль-травы.
Ну, дайте же руку, которой нет,
Не надо слезить глаза.
Нас не подслушает сонный снег,
Вы можете все сказать.
...Кудрявится иней у зябких век,
И вот, вы скрипите мне,
Что нынешней ночью чудной человек
Вас обнимал в тишине.
Он очень качался...
быть может — был пьян,
А может — качала тоска...
Руками сжимая ваш дряхлый стан,
Он плакал?.. или икал?..
Мне горло сдавило тоски кольцо, —
— Фонарь, ты не помнишь примет?..
Я, может быть, знаю его лицо!..
Фонарь промолчал в ответ.

17/1 — 27

Зимние костры

I

Я щеки свои рукавицей потру,
Прохладные щеки с замерзшим румянцем,
И, вот, подойду к золотому костру,
И буду греться с двумя оборванцами.
Шпану, газетчика и меня
Прибило морозом издалека;
Мы греемся у одного огня,

И тает иней у нас на висках...
И дышит костер, как сосны с утра,
Краснеет гривкой в синий туман.
...Мы словно на острове, — у костра,
А черный город, как океан.
И вот я чувствую: на земле
Роднее и ближе, чем мы — нет.
...Но у газетчика стала тлеть
Пахучая пачка холодных газет...

11/XII — 26 г.

II

Б.К.

Снег хрупче, упорней и резче,
Я вновь по Фонтанке бреду,
И звезды, робея, трепещут
В когтях у деревьев, — в саду.
Мне сторожа грузные ноги
В багровом отсвете костра
И белые эти дороги
Родней, чем родная сестра.
Мне странно и близко знакомы
Дрожащие огоньки
И контуры черного дома
В спокойных полынях реки.
Все тех же оград вереницы,
Но поступь моя холодней,
И я уж не щурю ресницы
На желтые точки огней.
И я без хорошей тревоги,
Без чьих-то напористых строф
Пройду по хрустящей дороге
Среди красноватых костров.

12/XII — 26 г.

У газет под бровью
Налились строки,
Что войны и крови
Подползают сроки.

Выйдет милый к стойлу,
Голову наклонит:
«Кони, ой кони...»

Застоялись, кони?»..

Вы отцов носили,
Гривуны простые,
По сырой России,
По тропе Барне...

Пот кипел на порах,

Пар парил у челки,

Если царский порох

Возле шеи щелкал...

Но давно копыта

Не пытают ночью

Берега отбитые

Да усталость отчью.

Кони, ой, кони,

Вы позастоялись —

Вот опять погони

Да атаки малость...

Так промолвит милый
Радостен и хмур,
Ну, а мне что делать,
Что сказать ему?

Не заплакать, нет, —
Девкам — нам:
Стыть слезам в стране
Что снегам.

Боль скручу немую —
Горячо!...

Кану к нему я
На плечо.

Я скажу: забудь-ка жёнино
Лицо
С другом заряжённым
Ружьем...

На войне — коне — не бойся
За жену:
Остаемся мы
Беречь страну...

Сыновей и фабрики растить
Да стеречь у хуторов пути...

Чтоб без горя-трепета
Шли станки...

Чтоб вас песней встретили
Гудки...

Я без горести и без испуга
Согласилась этой весной
Стать твоей румяной подругой,
Быть твою веселой женой.

И пошли коротенькие ночи
Ласковей, белее полотна.
По обычью — хочешь иль не хочешь, —
Колдовала невская волна.

И смешные городские птицы
Прилетали к самому окну,
Удивлялись, что же нам не спится
Под обыкновенную весну.

Но в густую, яблочную осень,
В эту осень, отчего ты хмур?
Словно скука синебровых сосен
Привязалась к другу моему.

Словно хочет угадать разлуку,
Так он часто говорит о ней.
Как же мне
сомкнуть сильнее руки,
Как же мне
обнять его сильней?

Чтобы снова миловал такую,
И не верил бы тоске своей,
И не думал бы, что я целую
Милого — другого — горячей?

Осень 1927 г.

Казак удалой (Николай Молчанов)

Второй (и настоящей) любовью Берггольц стала Николай Молчанов. В Автобиографии она писала:

«Молчанов был настоящим комсомольцем; тот, преобладавший тогда в комсомоле, аскетизм и самоотречение были доведены в нем почти до крайности. Донской казак по происхождению, высокий, удивительно ладный, он был необычайно строго и мужественно красив и еще более красив духовно. Именно красив и совершенно целен. Прямота, в юношестве граничащая с резкостью, безкомпромиссностью в обращении с людьми, крылатый, смелый ум, органическая потребность помочь людям, защищать слабого, естественная скромность, вернее, целомудрие души. Он был, как и полагается настоящему, сильному мужчине, очень добр и в то же время абсолютно нетерпим по отношению к людям, совершившим хоть малейшую подлость или нечестность. С первых месяцев общения с ним (мы занимались на одном курсе, в одной бригаде) я многое уже угадала в нем из того, что пишу выше. Я старалась выровнять себя по нему, наше общение крепло, вкусы совпадали. Но я хотела, чтобы он полюбил меня. Я видела, что он уже любит, но не хочет подчиниться этому чувству. Он мотивировал это в общих, отвлеченных разговорах на тему о любви, семейной жизни и т. п., что «сейчас все личное должно быть отложено, построим фундамент социализма, — потом займемся собою». Я доказывала, что одно другому мешать не может. Впоследствии мы не раз с улыбкой вспоминали о том, что ведь все это говорилось искренне, всерьез. Я была активной стороной, не в грубой форме, конечно, Я его «завоевала», и все двенадцать лет нашей жизни он повторял, как счастлив тем, что я «женилась на нем».

Весной тридцатого года мы стали мужем и женой. <...> Я любила его безпредельно, осознанно, умудрялась ревновать к приятельницам, твердо зная умом, что к этому нет оснований, и

с каждым годом убеждаясь в том, что кроме меня для Николая никто не существует. Идеино и духовно мы жили одним, и в области общественной, и в искусстве, которое он любил и понимал тонко и в то же время по-крупному... <...>

В 1930 г., вскоре после того, как мы поженились, по окончании университета, мы по собственному желанию отправились в Казахстан, в Алма-Ату, в краевую газету, оставив пока Ирочку с мамой (дочку мою Коля принял в сердце и любил невероятно). Жили мы там до конца 1931 года, жили ужасно в бытовом отношении, работать приходилось чудовищно много, но мы были очень счастливы, работали с подлинным энтузиазмом и горением, с абсолютной верой в то, что происходит вокруг, в то, что делаем сами, и было лишь одно желание — сделать как можно больше.

Приведем два письма поэтессы казахстанского периода.

Первое письмо примечательно предчувствием Бергольц о гибели своего мужа — за 11 лет до его смерти!

Письмо к Марии и Юре [Либединскому]

15/XII — 30

«Милые мои Юринька и Мусинька!

Завтра, кажется, мы приедем в Алма-Ату! Да, только завтра. Мы сели на поезд 7/XII, и вот все еще едем. Я уже отупела.

У Николая выросли усы и борода — до того ему хороши его русые усики, что глаз не отвести, за душу хватает! Муська, как я люблю его, мне даже грустно и страшно, мне кажется, что это будет, в конце концов, горем и гибелью для меня...

Понимаешь, когда я гляжу на него, вместе с ощущением необыкновенной радости и терпкости жизни вдруг чувствуя какой-то темный и страшный провал, гибель свою...

Скажете, интеллигентщина? Не знаю. Нет, потому что это не приводит пока ни к каким практическим действиям.

...Мы едем, как чужие, не допуская никаких нежностей на людях, раза два-три удалось мне поцеловать его в тамбуре, или когда бегали за кипятком. Он не то что скучен, а скуповат на

ласковые слова и фразы, он не умеет «милиться», как Юрий, <вероятно, Либединский – авт.> но зато практически, что ли, он заботлив не так, как заботлив муж, а как товарищ. Он отдал мне весь шоколад, покупал мне молоко, проявляя тревогу, потому что я простудилась и зверски кашляла и сморкалась – и не разу не сказал какой-либо соболезнующей фразы, «не пожалел». У его дяди в Москве он представил меня как «товарища», когда Борозина спросила – не муж ли он мой – ответил – нет, как будто.

Шутя я назвала это «отречением», подобным отречению Петра от Иисуса Христа, он недоумевал – я думал, что тебе так удобнее. А, пожалуй! Но я чувствую себя в таком положении, как в необжитой комнате, я борюсь с желанием своим жить «мужем-женой», честь-честью, связанными территорией и бюджетом. Не знаю, почему, но мне кажется, что это желание неправильно.

Третьего дня один из наших спутников, бишкекский деятель, обладатель двух орденов красного знамени (он же пил понемногу всю дорогу, снабжал нас анашкой, приходил в ажиотаж из-за украденной шубы, из-за женщины, родившей в его вагоне), так вот, этот самый дядька все в таком же ажиотаже прибежал с газетой и мы узнали, что вредителей не расстреляли!

У меня, ребята, аж в глазах потемнело! Вот, сейчас я уже успокоилась, но все-таки саднит все внутри, а в первую минуту мне так и показалось, что тут совершен неверный политический шаг, т.к. я сразу вспомнила митинги на Путиловце, и демонстрацию в Ленинграде, и всю ту ненависть, и всю гнусность и чудовищность блядей из Промпартии. И вот, после всего этого, после того, как все-таки хотели их изничтожить – о-ох... И вот я, и Саша (хохол, кладезь задушевных хохляцких песен), стали громко возмущаться и [дебатировать], мы в конец расстроились, и чуть не демобилизовались!..

А Колька, хотя и он был за расстрел, он сразу как-то встал на точку зрения суда, и стал нас с Сашей крыть, и осаживать,

и я сообразила тогда, что мы дураки, т.к. кругом беспартийная среднеазиатская масса... Я замолчала, и с гордостью, и с неприязнью к себе, я подумала, что Колька большевик не только по принадлежности к партии, но по *породе*, потому что большевики должны быть людьми особой породы, новой расы, это ведь не звание, а состояние, что ли, и физическое тоже. Колька сказал — «как вам еще вертеться надо...» Я скучожилась, вагон обсуждал события, и к моему стыду проводник наш, страшная сволочь, почти слово в слово повторил мои соображения — не слыша их.

— Без изоляции даже, — вопил он, — вы заметите, даже без изоляции! Нет, неправильно, как же я теперь на заём подписываться буду, кому доверять! (уж этого я не думала).

Ох, ребята, верно, как мне еще много «вертеться» надо, чтоб большевичкой стать, особой породой. И все-таки я считаю, что их надо было расстрелять — обязательно...

Едем мы очень медленно, всей душой ощущая прорыв на транспорте. Мы простаиваем по 5, по 8, по 13 часов на разъездах, на станциях, просто в степи, в вагоне грязь и свинство... <...>

Мы опаздываем на 2 суток уже, а может быть опоздаем и больше. Сейчас мы чуть не напоролись на встречный поезд. Мы едем уже по Турксибу.

Ишаки, юрты и верблюды уже давно не являются для нас экзотикой. С Оренбурга мы едем степями. Степи под Оренбургом сверкают, как украинская ночь. Я наблюдала рассвет в снежной степи. Никакой музей запасной живописи не сравнится с рассветающим снегом. Сначала густо-синий, он неошутимо легчает, и как бы пухнет, наливаясь лиловой, и потом сиреневой краской. Он поблескивает уже искрами, которые, как сетка покрывают степь. Солнце начинает играть, вылезать из земли, и тут начинается целое побоище цветов, лиловых, сиреневых, голубых и оранжевых, пока не побеждает розовый, а затем кроваво-желтый, огненный цвет, и уже к полдню — сплошная золотая сетка пляшет над степью.

Потом ехали степями, где снег скуден, песок смерзся, мы видели без конца — верблюды, косоглазые ребятишки,

грязища, узбечки в жутких паанджах, сидящие, как животные.

Теперь опять снег и пахнет бураком».

«19/XII

Ласковые мои!

Вот мы и на работе. Уже четвертый день. Вернее, теперь пятый, т.к. уже 20.

Вчера мы сидели в редакции до 10 ч. вечера, потом пошли к себе устанавливать буржуйку.

— «К себе» — это значит к нам. А «мы» — это я, Николай, Анк и Пресняков, холодная комната — без вторых рам, русская печка и 3 кушетки. Ситуация примерно владикавказская, с тою лишь разницей, что в одной комнате с тобою самый хороший и любимый человек, который смотрит на тебя золотым своим глазом, и ты все в них видишь лучше, чем бы это было сказано, и он подмигнет, улыбнется, или руки покажет незаметно (мы — инкогнито), и сразу легче станет. А в Алма-Ате, по словам Екатерины II — «вид прелестный, но ситуация премерзкая».

Мороз около 30. Отсутствие теплых уборных. В редакции не топят и дня — нет дровов. Дикая простуда — у меня — бронхи-тище, насморчище, кажется, температура. 4-ую ночь полусплю, такая холода. В Алма-Атинке вымерзла вода и в столовых нет чаю...

Ну, да хватит жалоб! Этак вы подумаете, что я раскаиваюсь, что приехала сюда. Отнюдь! Наоборот, желание мое остаться здесь укрепилось, вот только бы жилье оборудовать, а то как-то кисло. Работищи — чертова гибель, причем работать-то надо озверело, ногтями и зубами даже. Сегодня сдаю первую подборку — мясо- и скотозаготовки».

В рукописном отделе Публичной Библиотеки Санкт-Петербурга, в фонде 1397 (Банк Н.Б.) хранятся письма, карандашом и чернилами, Ольги Берггольц к Молчанову за период с 14 марта [1937] г. по 1 июля 1938 г.

Давайте прочтем их вместе.

1.

«14 марта

Милый пес,

вчера вечером вливали мне кровь, и всю ночь так болела правая ягодица и прилегающая к ней нога, что я ничуть не спала, под утро расплакалась от боли и жалости к себе. Мне поставили грелку, сейчас уже полегче. Хоть бы помогло! Знаешь, после того, как врачи дали определенный срок — я почувствовала некоторый прилив бодрости. Все-таки валяться в таком состоянии, непрестанно теряя кровь — ничуть не лучше, чем сделать скобленку. Раскисла я страшно — и физически и нравственно. О, конечно, конечно, лучше всего было бы родить толстого, милого Степу; на зло жизни, которая в этом пункте точно заговор против нас соорудила, родить, чтоб освободиться от милых, но мучительных теней Иришки и Маечки... да просто так, потому что это нужно и хорошо.

Я и стараюсь...

Ну ладно, сейчас особо рассуждать нечего, посмотрим, что дадут эти ближайшие 5-6 дней.

Только не разлюби меня, Коля, за мои болести, столь неблагородные, и не утрать ко мне т.н. влечения, как прошлый год! Ладно? Я еще буду здоровой и обольстительной... Люби меня так, как весной 30 года, как в Алма-Ате... нет, люби как хочешь! Ты не морщись от моего сентиментализма, — мы немного подсохли за последнее время... Здесь, на свободе, я много думаю...

Ну ладно, стариk! Думаю, что 20 ты придешь ко мне — я во всяком случае буду жива!

Что ты сделал с [...]перстнем? Какие новости? *Как здоровье — все в порядке?* Как деньги — не голодаешь? Узнай у Короткова о ликвидационных.

Кр. целую. *Псо.*

Принеси мне лимончиков и граненый прост[ой] стакан — я разбила казенный».

2.

«17/III

Ну, Колька, миленький, пока я не могу похвастаться решающими успехами. Несмотря на то, что 15 мне вторично ввели 10 кубиков крови, несмотря на капли и свечки и полную неподвижность — кровеотделение не прекращается; вчера было уменьшилось, — с вечера. И ночью — опять.

Врачи говорят — «лежите, лежите, посмотрим 19-го, не теряйте надежды», но, — и т.д., — а мне думается, что мы с тобой должны приготовиться к варианту неудачи. С тем, конечно, чтобы лето употребить на основательную — общую — поправку — и все-таки победить. Мне просто тягостно уже от собственного брюзгливо-угнетенного состояния духа, — таковое же, еще более часто, чем у меня, — наблюдается и у тебя. Нельзя с ним жить! А в настоящее время — у меня просто понижение вкуса к жизни. Томит, — вот верное слово — томит однозвучный шум. Я это — не в оправдание, и не в мотивировку к abortu или чему, — а к тому, что так нельзя, что жить надо лучше, жить надо веселее... ПсО, мы не становимся ли с тобой нытиками и маловерами? Не стареем ли — в сам деле? Ужасно этого не хочу, и всячески буду этому сопротивляться, и тебе не позволю...

Наверное, гипохондрия еще оттого, что тебя со мною нет.

Родненький, родненький, затравленный — милый, — скорей бы к тебе, в огромность квартиры, наводящей грусть! Как всегда.

Только обаятельный Пинквик утешает меня — вот спасибо, так спасибо. Почти непрерывно хихикаю — с тех пор, как они отправились к Уордлю*.

* Вероятно, персонажи Диккенсовского «Пиквикского клуба».

Вот, главврач сказал, что 19 будет вроде консилиума во главе со Скроботским — по моему вопросу. Колька, — мы будем, как они скажут, да? Они хорошие, и заботятся обо мне.

Какие новости? Как здоровье, настроение, мысли? Кто мне звонит? Звонили ли с Электросилы? Пиши поподробнее.

Целую собачку. Оля».

3.

«13/VII — 37

Милый псой!

Я очень рада, что ты поехал на Сиверскую, жаль только, что день серенький. Только бы ты не попался под поезд, или что-нибудь в этом роде... А без твоей записочки сегодня скучно. Ну, ожидаю, что завтра (я пишу вечером 12) — получу посланье.

Чувствую себя не плохо — а ведь могли быть всякие сюрпризы, вплоть до заражения крови. Бог, он все-таки, наверное, есть. Завтра позволят встать, и дня через два к тебе. Но как-то страшно, псо. Который раз обманываю я твои надежды, и возвращаюсь к тебе жалкой и ничтожной. А когда-то ты считал меня героем!..

Утром приходила мама, обещала зайти зачем-то «после 6 часов», а я отправила вниз на ее имя две прочитанные книжки Толстого, но она наверное «захлопоталась», так что ты спроси в справочном, на имя Берггольц и т. <д.> — боюсь, не пропали бы.

Надоело мне тут ужасно. Бабы даже для наблюдений неинтересны, — все уже знают, и главным образом преобладает тупость «настоящей жизни», которая ничем не лучше тупости «ненастоящей жизни». Нет, верно, безотрадный народ, а моя соседка слева так просто готтентот какой-то, без словаря, без мыслей. Надоело мне общение с народом на гинекологической базе.

Утешает Толстой, но оказывается, так хорошо все помню, и так уже много думалось, что пока открытий — новых — мало. Но — утешает, правильный старик».

1/VIII-38

«Жизнь моя течет однообразно, без особых приключений; отдых уже начинает докучать.

Прибавила 1 кило 300 грамм. Это немного, но зато вопреки страшной жаре и весьма средней пище.

По-прежнему пребываю в одиночестве, компании не подобравшись, искателей держу на самой почтительной дистанции: одной мне нравится больше. Я не скучаю, несмотря на одиночество и стремление домой... Опять, как в прежние годы, впрочем, твержу с любовью и новым чувством —

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь...

И — еще, помнишь от 30 года?

За высоту ж этой звонкой разлуки,
О, пренебрегнутые мои,
Благодарю и целую вас, руки,
Робости, родины, дружбы, семьи...*

Очень, очень тревожат дела на японской границе. Неужели — война, война в самом деле, наяву?! Неужели весной 39 года все, что было говорено на кружке ПВХО**, начнет дико реализоваться.

Это и в лично мои планы не входит. В общем же я чувствую, что окрепла, стала, кажется, веселее.

Однако мое человеколюбие, возникшее в первые дни, сменилось, вернее дополнилось новыми впечатлениями над 500

* Из стихотворений Б. Пастернака.

** Противовоздушной и противохимической обороны.

отдыхающими. Ох, псо, сколько сволочи на свете, и какие мы с тобой благородные и, так сказать, девятнадцативековые... Но об интересных умах холодных наблюдений и сердца горестных замет* расскажу по приезде. Вообще, мы поговорим с тобой, мы поговорим с тобой, собеседник мой, единомышленник мой... Я расскажу тебе также о смешных вещах... понимаешь, кажется, я покорила сердце... гипнотизера! Он так же обязателен в своих врачебных функциях, но помимо того несколько дней назад, заикаясь, вдруг предложил мне прогулку на парусной лодке. Мы прелестно покатались, причем доктор обнаружил крупные способности морского волка. Разговор был безобиднейший, а на другое утро вдруг доктор, страшнейше заикаясь и робея, преподнес мне... собственные стихи об этой поездке! Каковы таинства природы? Я не могу отказать себе в удовольствии посмеяться вместе с тобой и поэтому не переписываю и даже не квалифицирую этого стихотворения. Разговора об этом подношении еще не было, думаю, что найду в себе такта не наговорить «комплиментов бабушке».

Кроме того, сегодня доктор катал на большом паруснике почти всех своих морских свинок (я ездила тоже), т.ч. лирический характер первой прогулки как бы снят. Было тоже довольно смешно, но об этом после... Впрочем, я не предаю посмеянию доктора Таежного, т.к. все эти, присущие невропатологу-психиатру, странности, как будто бы не мешают ему быть достойным врачом. Впрочем, прах его знает, что за тип.

Не могу не описать также сапожника, которому я уже заплатила 20 с лишним руб. за все те же тапочки.

Представь себе человека, сидящего на большой дороге под каким-то древом; на голове его — шляпа с огромными, кинематографическими полями, что-то ультра-ковбойское. Под этой шляпой — совершенно продувная, русская, вологодская,

* Цитата из "Евгения Онегина" А. С. Пушкина.

но оливковая рожа, с курносым носом, с голубыми глазами, и во рту — четыре передних, *огромных* зуба — ослепительно-серебряные! Этот грабитель необыкновенно цинично и в то же время заразительно смеется, показывая все свои зубы, когда ему показывают развалившуюся тапочку, которую он вчера чинил, и говорит: «завтра она опять порвется, это камни у нас такие, а что я с камнями поделать могу?» И несмотря на то, что он меня ограбил, я не могу смотреть на него без смеха, когда иду на пляж. Уж больно колоритен... На пляже я веду себя необыкновенно благоразумно. Я даже намереваюсь в приближающиеся 2-3 моих законных дня не посещать пляж, — видишь, как остылая стала к старости?

Если я немного меньше от этого благоразумия загорю, то ведь все равно я буду нравиться тебе, пес? Да, я думаю, что буду нравиться тебе...

Еще 14 дней. Попробую взять еще кило два... Душевные садины, быть может, никогда не пройдут, это ясно, но спокойнее я стану и не буду сердиться на тебя.

Господи, только бы не войны, только бы еще несколько лет не войны, и, может быть, удалось бы еще пожить с легким дыханием и написать что задумано — хорошо и нужно. Знаешь, прочитала одну часть из 4 книги «Тихого Дона», — очень хорошо и очень смело. Надо перечесть все с начала до конца. Это не «хлеб», это выведется монумент.

Ты мало мне о себе пишешь, скучно, несколько нервозно. Всетаки, когда уезжаю, отпускаю твою руку, — плохо. Даже не то что плохо, а как-то не так.

Забрать ли у Юрия <вероятно, Либединского — авт.> машинку, — он согласен дать ее? Пожалуй, заберу, если вы[й]дет».

5.

«2/VIII

А письма от тебя сегодня нет. Немного огорчена, но думаю, что будет или вечером, или завтра — обязательно...

Моя сожительница заболела колитом. Лежит, скрипит, а в комнате непрерывно сидит ее муж, жирный сангвинический жиц с выпяченными губами, в майке, с запахом летнего национального пота. Масса жидовства: и то не так, и это не этак, — бегает, хлопочет, претенциозен и глуп, как пуп, да еще оба врачи! Смотришь на него и невольно антисемитом становишься.

Ну, это уж невесело.

Да, не забудь мне напомнить рассказать тебе о татуировке одного «морячка».

Ну, все, пойду на пляж...

Ах, все же неладно, я отдохну, а ты — нет. Смотри, встретя меня не изнуренный, без трясущейся ноги, веселенький и ласковый, и научитесь в[ы], наконец, играть в дурака!

Я выезжаю 15 вечером, из Сочи, очевидно, 18 буду в Ленинграде. О, о! Я рада. Крепко целую золотые глазыньки.

Это письмо ты получишь числа 7-8, пожалуй, уже не отвечай на него, если получишь 8, а не раньше.

Целую,

Целую,

Целую

Ольга».

В это же время Николай Молчанов защитил кандидатскую.

Запись в дневнике Бергольца от 31 / 3 – 38 года:

«...в каких условиях создавалась эта диссертация! Она оформилась и заканчивалась в те дни, когда я была абсолютно опорочена, ославлена как «пособник врагов», в условиях полной общественной изоляции, полуголодовки (проданный Анненков!)*, в условиях ежемесячных исключений, его обострившейся — и моей — болезни, в условиях, когда все друзья были «перебиты».

* Анненков П.В. (1812 – 1887), русский литературный критик и мемуарист.

Я горжусь тем, что настояла на том, чтоб он ее закончил, и чем могла — главным образом — морально помогла в ее появлении...

Я горжусь своим другом-мужем, своим собеседником, своим умным, талантливым Колькой...»

Она не зря гордилась им. В часы испытаний Молчанов не оставил свою супругу и был готов разделить с ней возможную каторгу или ссылку. Вот что он писал своей теще, М.Т. Берггольц:

«Мария Тимофеевна, милая!

<...>

Самый важный для нас вопрос — кончилось ли следствие у Оли? Если *не кончилось*, то и перевод на Арсенальную ничего не значит.

Вообще этот перевод может означать:

- а) что человека *скоро выпустят* — (в ходе следствия выяснилось, что ничего серьезного нет, можно держать подследственного в такой обстановке, как на Войновой 25).
- в) что человек настолько *хорошо* показал себя, что следствие может идти обычным порядком — через прокурора.
- с) что дело вышло из ведения НКВД.

И только если следствие *кончилось* и есть *обвинение* — то это плохо: надо ждать скорого *суда*. Но суд может *оправдать*.

Если нам с Олей придется уехать, то это нужно будет делать быстро, сборов никаких не будет — соберемся и поедем — затруднять Вас тут незачем.

<...>

Нежно целую Вас.

5.II.39

H. Молчанов»

В Автобиографии Берггольц пишет:

«И вот грянула война.

Через час после того, как мы узнали об этом, Коля засобирался в военкомат, и мне совсем уже было не выговорить, что

ему с его припадками и пти-малями это нельзя. Он был младшим лейтенантом, командиром в частях, прикрывавших наше отступление, уходивших последними. Он получил две благодарности от командования и — к концу августа, — его демобилизовали с белым билетом как инвалида. Он вернулся в Ленинград, подавленный демобилизацией, взялся за работу в военной газете, на радио, в жакте*. У нас была возможность уехать. Мне предлагали даже на самолете сопровождать в тыл Анну Ахматову. Мы отказались, — «ведь для чего-нибудь было все предыдущее, для чего-то мы жили...» Наступила решающая проверка всей жизни, и избежать этой проверки мы не могли по совести, совесть не позволяла. Уехать — означало обанкротиться.

<...>

Когда Николай вернулся с фронта, мы влюбились друг в друга какой-то особой, обостренно-нежной, вероятно, даже болезненной предразлучной влюбленностью. <...> Помню, стояли мы один раз с ним на солярии, бомбекка была дикая, было светло от пожаров, как днем, и этот свист бомб, — подлый и смертный. Я изнемогала от страха, но стояла, я же была комиссаром дома. И Коля вдруг подошел ко мне, взял мое лицо в ладонь, поцеловал в губы и сказал: «Знаешь, если один из нас погибнет, то другой обязан досмотреть трагедию до конца». Не сообразив, что говорю, я ответила: «Ладно, Коля, досмотрю». В это время на нашу улицу и на наш дом немецкий самолет выбросил ведро зажигалок... <...>

Голод скрутил Николая очень быстро, тем более что припадки стали учащаться. Человек, который был человеком настоящей мужественной воли, на моих глазах с каждым днем приобретал черты оголодавшего, одержимого дистрофика. Он крепился, он работал, помогал жильцам, привозил на себе уголь в замерзающий наш дом, но слабел с каждым днем. У нас не было ни золотых вещей, ничего, чтоб продавать и покупать что-либо. Незаметно для него я старалась подсунуть ему часть

* ЖАКТ — жилищно-арендное кооперативное товарищество.

своего хлеба, супа и т. д. В декабре, видя, что он идет к гибели неудержимо, сделала попытку вывезти его за кольцо, хотя мысль о разлуке с Ленинградом (да и с Юрой) была для меня страшнее мысли о смерти, — а я сама тогда уже с трудом ходила. Эта попытка не удалась».

Куда могла уехать Берггольц?

Сохранилось ее письмо сестре от 24/XII – 41 года:

«Мусичка!

Видимо, 27/XII – 41 мы улетаем в Архангельск.

Не хочу уезжать из Ленинграда, но Коля очень плох и я тоже ослабла. Нужна передышка. Вернусь сюда при первой возможности.

Держись, сестра, скоро будет хорошо.

Адрес сразу сообщу.

Оба крепко целуем.

Отец жив. Здоров настолько, насколько все ленинградцы...

Твоя Ольга».

Далее в Автобиографии читаем:

«Тогда я устроила его в военный стационар одной из армий, где неоднократно выступала. Отвела его туда 8 января 42 года, в тот же день сама перебралась в общежитие Радиокомитета, так как дома жить было уже невозможно. Ночью 10 января Юра уехал в командировку за кольцо, в Армию Федюнинского*, и оставил мне свою хлебную карточку. Рано утром я получила хлеб по двум карточкам и, торжествуя, с хлебом пошла к Николаю. Я пришла, — он лежал в отдельной палате, где было 5° ниже ноля, лежал крепко связанный толстенными веревками: у него было буйное помешательство. Он узнал меня, но воспринял через бред: ему казалось, что мы в фашистском плену, что меня сейчас будут убивать, насиловать. Пишу выплевывая — «не буду есть германский эрзац!» Ночь была страшной. Он бушевал всю ночь, дико скалил зубы и кричал все время: «поцелуй меня».

* Федюнинский И.И. (1900 – 1977), советский военачальник. В январе 42-го командовал 54-й армией.

<...> Под утро он затих, хотя не заснул и не пришел в себя, и бойцы перенесли его в общую, теплую палату. Меня уже знали в Ленинграде, по стихам в газетах, по выступлениям по радио. Бойцы попросили: «почитайте нам свои произведения». Я встала у времянки, посередине палаты, и читала им. Они не хлопали, конечно, но после каждого стихотворения говорили вполголоса: «Спасибо, ну, еще что-нибудь». И я читала «Письма на Каму», «Разговор с соседкой» – о блокаде, о том, что было вокруг. Потом принесли суп, и каждый отлил мне из своей тарелки по ложке супа, и я тоже поела. Николая перевезли к б.<ывшему> Николаю-Чудотворцу. Ходить туда было очень далеко и страшно: рядом был завод Марти, который немцы непрестанно обстреливали, и попадали, конечно, куда попало, и часто в больницу. Кругом – трупы. В палате, где лежал Николай, было почти темно, пол скользкий – замерзшая моча, лежало тут впритык к друг другу множество солдат (это было отделение той же Армии), помешавшихся от голода, бредивших едой и – не принимавших ее! У меня все это подробно записано в дневнике тех дней... Когда я приходила, один сумасшедший не отходил от меня и все говорил: «А я тебя давно жду... Я знал, что ты за мной придешь... Я теперь за тобой в щелочку выскользну и буду везде за тобой ходить. Я теперь всю жизнь за тобой ходить буду». И вся палата и все – было за гранью человеческой фантазии, было безумием и глубоким позором человечества...

За все и за всех виноватой,
Душе не сказавшей: «прости»,
Одной мне из этой палаты,
Одной – никуда не уйти».

Откроем дневник, на который ссылается Бергольц:

«12/1 – 42 года <в госпитале у Коли>

Почти не спала. Коля все кричал и умолял развязать ему руки, и однажды с непередаваемой мольбой крикнул: «развя-

жи, Оленька... матушка!.. Христа ради! Христа ради...» Точь-в точь также кричала Ирка в предсмертной муке, умоляя «попить» и дать камфоры и закричала с дикой мольбой: «мамочка, дай камфоры — Христа ради», — на той же Песочной улице, только в другом ее конце, куда я ошибочно привела Колю, думая почему-то, что именно там должен быть и его госпиталь...

...Я мерзла до детского плача возле него и уходила греться в общую палату. Там едва светила коптилка, скученные постели, кто-то спит на стульях, у коптилок две молоденькие санитарки. Я жалобилась им с оттенком какой-то фальши, и упала головой около коптилки и уснула — а из морозной комнаты Коля кричал: «Оля! Оля! Ты дура, бля, ты среди врагов, среди гитлеровцев, сейчас они будут тебя насиловать...»

Я не шла к нему — не могла — какой он мучитель, какой плач, несчастный мой Коля, как я ненавижу его — до крика и люблю — всей кровью. И я не шла, а когда он затихал, обмирала: «Умер», — натыкаясь на вещи, бежала к нему — но он даже не спал, он абсолютно не спал, как Ирка и Майка перед смертью — и увидев меня — бормотал все то же.

И я шла обратно в палату — греться, но и в палате стало под утро очень холодно, и в 4 утра у печурки собирались страшные бойцы — истощенцы, щёки, впавшие вороночкой и острые виски — стали раздувать печурку, солдат с усами, отекший, задыхаясь, таскал воду в бачок на буржуйку — я села рядом с ними, полураздетыми, в накинутых шинелях, почти крича от холода, но печурочка скоро раскалилась до красна, я уснула, облокотясь на подоконник, кому-то мешала, но кто-то сказал: «не видите, женщина спит, всю ночь с мужем возилась...»

Потом стало рассветать, Колю перенесли в общую палату, он лепетал о немцах еще настойчиво, но уже тихо, пили чай, один истощенец играл на гармошке, и потом я читала стихи — «Письма на Каму», «Дарью Вл.»

Как я читала после этой ночи — сердцем, и хорошо они слушали, и потом стали называть «Ольга Федоровна», и надавали писем к родным — на Ленинград — боятся, не умерли ли — не приходят к ним...

Ничего печальнее этого утра, этого госпиталя за время войны я еще не видела...

27/1-42

Была у Коли. Он вновь не узнал меня. Он лежит без белья, потому что все время мочится под себя. Насколько я знаю — это признак последней стадии истощения. И отец то же сказал.

<...>

Вчера у меня были очень жестокие мысли: я думала, что если он умрет, то это ему лучше — он ведь так страдал из-за своей болезни. И мне лучше — разве я не мучилась и не изнемогала от его болезни последнее время уже до отчаяния?

Я буду свободна, я смогу сделать все, что хочу. Я уеду в Америку и там напишу книгу о том, что так нельзя, и что у людей нет выхода, кроме любви к самым близким людям... Впрочем, я сама не знаю, в чем выход...

Я думала так — спокойно, устало, равнодушно.

Сегодня пришла в нашу ледяную, разоренную квартиру — стала брать одеяло — увидела, как у Коли заботливо все было собрано к отъезду — и закричала. Нет, что я, нет, нет! Как же так, если его не будет? Как же жить? Как же он? Он так мало радовался. Он не успел развернуться во всю мощь своего редчайшего ума и таланта. Он хотел детей. Он любит меня и радуется мне, и не успел еще как следует насладиться мною — я знаю, я еще не уладила его, мне все казалось — за 12 лет, что все счастье с ним — впереди...

Что все эти мои романы — по сравнению с Любовью с ним?! Они и не мешали ей, и только ярче и глубже я чувствовала её...

О, Коля, свет мой, душа моя, дыхание мое — выживи! Выдержи! Вернись ко мне хотя бы таким, как ты был в декабре — жалким и кротким — я вынесу тебя, я же люблю тебя!»

Продолжим читать Автобиографию.

«Вечером 29 января, когда я вернулась от Николая, я увидела в общежитии Юру. Он привез из-за кольца какие-то продукты, даже валенки для меня. Я была ужасна, — отекшая до безобразия, со щелочками вместо глаз, с непрерывной одышкой. Я сказала ему, что Николай очень плох. Он воскликнул — «у меня кое-что есть, даже сахар, мы завтра отнесем ему это, мы его вытащим». Через два часа мне позвонили из больницы и сказали, что Николай умер. Я даже глаза ему не закрыла. Я была очень плоха, но не ложилась, от стационара отказалась».

В дневнике читаем:

«30/1-42

Вчера умер Коля. Я еще не понимаю этого. Он вернется. Это пройдет. Он вернется.

Вместе с Юркой ходили в больницу, и я решила, что пусть его похоронят от больницы, в траншее, в братской могиле. Мы на фронте, и пусть его похоронят как солдата, на фронте, в братской могиле.

Делать деревянный ящик за 250 грамм хлеба, копать могилу за 500 грамм, везти его на саночках через весь город, бегать к обидчикам-властям в ЗАГСы и прочее — зачем? Разве это нужно ему и хоть чем-нибудь выразит мою любовь к нему? Разве это поможет ему теперь? Лучше отдать этот хлеб опухшей Марусе, накормить ее, помянуть его хлебом.

Он очень одобрил бы меня за это. «Я расскажу ему это, — подумала я, решив, — и он одобрит меня». <...>

Нет, не может быть. Этого не может быть.

Как это так — он не войдет с сияющими глазами в нашу квартиру и не скажет: «Леленька!» Да, не войдет, так же, как не вернулись Ира и Майка.

Значит жить нельзя.

Еще сегодня я думаю, что это поправимо. Но ведь через несколько дней я с каждым днем буду убеждаться все больше и больше в том, что никогда.

Значит жить нельзя.

Он просил меня досмотреть эту трагедию до конца. Зачем?

Сделать надо так: у меня есть политура — напиться и на ней принять люминал. Когда напьешься, то ничего не страшно. Я, видимо, все же приду к этому.

Надо проверить, не беременна ли. Ведь это может быть — его ребенок. Больше шансов за то, что Юркин (я не успела его обрадовать тем, что будет ребенок — я боялась нагрузить его лишней тревогой за себя — ведь он и так за меня мучился!), — но очень много и за то, что его — 6 ноября 1941 г., — если только прекращение менструаций — не от голода.

Юркин практицизм и бодрое настроение — всё не обижает меня, все идет мимо.

Я отделяюсь.

Я ем — «ши-то ведь посоленные»...* Юрка хорошо кормит меня.

Я постараюсь уехать к Мусе, к Мусе, на Сивцев Вражек.

А в понедельник пойду к моему папе.

Нет, что-то не то происходит.

Я успею умереть».

Смерть Н.С. Молчанова последовала во 2-ой психбольнице на Мойке 126.

Далее Берггольц пишет:

«Юра ухаживал за мной, как за маленькой, что-то мне стряпал, приготовлял постель, в общем все было так, как написано потом в поэме «Твой путь». Я совсем уже не боялась ни снарядов, ни бомб, ни смерти, мне только хотелось дописать «Февральский дневник» — мой долг трагическому городу. Дописала, Юрка и товарищи сказали, что хорошо. Решили, что прочту его по радио в день Красной Армии. Когда я уже шла в студию — раздался из соответствующей инстанции панический звонок: не

* Цитата из притчи И. Тургенева «Ши».

разрешать читать! Печатать тоже запретили, — «за мрачность». Опубликовали в стенгазете Радиокомитета, и, видимо, отсюда она пошла в огромном количестве рукописных экземпляров по городу и его фронтам. Но запрещение — обнародовать поэму — еще подорвало меня».

Тогда же поэтесса сочинила стихотворение «29 января 1942 года». Стихотворение, посвященное Молчанову, рассказывает о его смерти и обращено к Макогоненко:

Смерть любимого мужа для Берггольц чуть не стала последним ударом. Она долго укоряла себя в его смерти.

Приведем характерную запись из дневника поэтессы за 1942 г.:
«1 апреля

<...> Я — баба, и слабая баба. Мне нужен около себя любящий, преданный мне мужик.

«О Молчанове»: ...он стоит передо мною, таким, как я видела его последний раз — со скрещенными, сведенными на груди руками, голый, мокрый (это он от холода так скрестил руки), с болезненной гримасой, растоптанный, размолотый беспощадной машиной войны...

Нет, отпустила я его руки, устала и не могла превозмочь усталость, устала от него. Предала его. Нет, это неправда — не предала, а оказалась слабой и малодушной».

На счастье Берггольц, она не осталась одна со своей слабостью. Рядом с ней был любящий мужчина.

Профессор (Георгий Макогоненко)

Третьим мужем поэтессы стал ленинградский радиожурналист Макогоненко. В Автобиографии читаем:

«С самого начала войны Горком партии прикомандировал меня к Радиокомитету, и я попала в отдел, где работал мой теперешний муж Г. П. Макогоненко, Юра. Он понравился мне — внешне — с первого взгляда, как личность. Без всякой аффектации, бодрый,

веселый, кипуче-деятельный, выразительно-умный (никогда не имела дела с глупыми мужчинами), инициативный, естественно-смелый. Работала я на радио во многих отделах, вплоть до контр-пропаганды, но больше всего приходилось работать по его заданиям, особенно в передачах на эфир, которыми он ведал, — крайне ответственных и воистину героических».

Роман Берггольц с Макогоненко начался еще при жизни её угасающего мужа. Ольга чувствовала свою вину и это чувство только усилилось после вдовства.

Далее в Автобиографии читаем:

«Как снег на голову приехала из Москвы сестра, — сопровождала машину с продовольствием, подарок от московских писателей — ленинградским. Увидев меня, пришла в ужас, и они с Юрай чуть не силой запихнули в самолет и отправили в Москву. Это было 1 марта 42 года. В первый день муж сестры, желая меня развлечь, повел в Москве в театр на оперу «Ночь перед Рождеством». Не понимаю, как я не закричала от охватившего меня ужаса и отчаяния, когда начался спектакль: как «они» могут петь и танцевать, когда Ленинград умирает? Нет, туда, только в Ленинград, и как можно скорее. Выступала в Москве на заводах. И рассказывала о Ленинграде — все, тут почти ничего не знали. Читала «Февральский»; Шолохов попросил для себя экземпляр — я подарила. Организовала большую посылку для радиокомитетчиков — лимоны, сгущеное молоко и массу глюкозы и витаминов в таблетках — и главное, лекарства от поносов. Сообщила с этой посылкой (отправляла самолетом), что скоро вернусь. Союз был решительно против, чтоб я уезжала, даже запретили, но я потихоньку от Союза уговорила одного влиятельного дядьку из Аэрофлота, чтоб он меня отправил, прочла ему «Февральский», он разрыдался и на другой день утром всунул меня в самолет вместо какого-то генерала. Я вернулась в середине апреля, через полтора месяца, с горбушкой и бутылкой коллекционного вина, которую мне подарили в Союзе как «герою». В Радиокомитете ждала меня любовно приготовленная Юрай комнатушка, и лю-

бовь, восторженная, невероятная; как живая вода. И ей ответило все еще живое во мне. <...> Я начала свою жизнь с ним, любя его, но все во мне было какое-то другое, притушенное и неотступно сопутствовало ощущение, владеющее и сейчас, что я не имею права на новое счастье, чувство непоправимой вины перед погибшим мужем, чувство измены. Судьба делала мне вторично бесценный подарок, дарила Юрия, а я принимала его с сознанием, что этот подарок временный, и при этом знала, что никогда не пройдет тоска о Николае, никогда не кончится траур. И в то же время, как у всех тогда, невероятная жажда жизни и счастья, страшное сопротивление всеобщей смерти.<...>

Несмотря на непреходящую, живую, горькую память о Николае, — входящую в стихи мои, особенно в такие, как «Памяти защитников», как оплодотворяющее и близкое всем утратившим родных чувство, несмотря на стычки и ссорки, несмотря, наконец, на ежедневную возможность гибели от снарядов и бомб — мы жили счастливо, смело, творчески, синхронно до мелочей, дружно, помогая друг другу, работая вместе над пьесой, сценариями, статьями».

Откроем дневниковые записи о медовом месяце с Макогоненко.

26/IV – 42

Я вернулась сюда к новому мужу, к новой любви и счастью — я вижу это теперь. <...>

Он любит меня страшно, не скрывая этого ни перед кем, сияя от счастья, как мальчик, получивший долгожданный подарок, он ходит почти бегом, он говорит громким, возбужденным голосом, он всем ежечасно — хвастается мною, моими стихами, моими успехами. Даже постороннему человеку трудно не радоваться, глядя на него. Какие восторженные слова говорит он мне — обо мне же, о моих стихах. Не устает глядеть на меня, не устает целовать, трепещет и боится ежеминутно, что «уйду».

Когда я приехала — я пришла в отдельную комнату на 7 этаже, светлую, очень теплую, даже с мягкой меблировкой («на этом диване ты сидела в 50 хронике»), со столом, где ящики набиты пищей и медовым, прекрасным табаком. У диванчика над столом — мой портрет, мой снимок, мои стихи. Он подготовил для меня отдельный угол, человеческое светлое жилье — правда, среди пробитых крыш и разрушенных домов. Как непохожа эта комната на зимний кошмар — на комнату Молчановых, Пренделей, Мариных».

Даже медовый месяц не отменил двойную жизнь Берггольц (целует одного, думает о другом); поэтесса жалуется, что когда остается одна, мгновенно проваливается в «холодную черную прорубь», в которой нет ничего живого.

Читаем дневник:

«20/V — 42

Не так давно Юрка ранил меня страшно: сказал, что будто бы Николай в ноябре сказал ему — обо мне: «если ты хочешь получить её, её надо увезти из Ленинграда, здесь она погибнет и не достанется ни тебе, ни мне». О, неужели он знал о том, что я жила тогда с Юркой? Боже мой, единственное сознание, что он был счастлив мною и со мною, единственное, что как-то оправдывает меня перед самой собой в отношении Коли — неужели это сознание — только мое заблуждение?

<...>

Юра мой и не знает, какого окоченевшего человека принял он себе в сердце! Я коченею давно. Колина смерть — последняя точка, последняя утрата в цепи страшных утрат — и личных, и общественных, которые начались еще в 33 году. Шагреневая кожа почти на исходе. Юра — мое последнее желанье — на исходе ее. Или я преувеличиваю свою омертвелость?»

Неожиданности следовали одна за другой. Уже в мае 42-го года Ольга обнаружила, что, невзирая на медовое похмелье, «Мак» (так она называла Макогоненко), стихийно тяготевший к многоженству, переписывается со своими бывшими (а может, и не совсем бывшими) подругами.

Из дневника. 26/V – 42 года:

«Он писал ей <Ирине, одной из пассий – авт.> в то время, когда я была в Москве, и он писал мне такие нежные, влюбленные письма, полные несомненной искренности. <...>

«Он мне солгал самым трусливым образом.

Это, как будто, мелочь, но ничего подобного за все 11½ лет не было у Николая. Если б случилось так с ним – это было бы для меня почти катастрофой. Я молилась на его любовь.

Но сейчас этот эпизодишко только способствует состоянию внутреннего одиночества – и причиняет боль тупую, почти внешнюю».

Макогоненко не оставался в долгу – и предъявил Берггольц свою претензию, , когда Берггольц получила письмо от Наровчатова.

Сделаем отступление о Сергее Наровчатове*. Это был роман: страстный, настоящий.

Выдержка из довоенного дневника.

«*Была в Москве*» Видела, разумеется, Сережу.

Вот еще одна утрата.

Не надо было мне вовсе встречаться с ним после Коктебеля, какое бы чудесное, горьковатое, ясное воспоминание осталось. Но нет еще этой мудрости, а есть тупая жадность. И вот –

Бог с ним.

Мне не жаль ни нежности, ни дум, которые посвятила ему. Он не плохой мальчишка, но всё. Внутренний «роман» с ним – окончен. Да и внешний – тоже».

Из письма сестре 23/II – <41>

«...иногда, когда сидишь среди нашей литературной публики и идет это – «совершенно замечательно», абсолютно «ужасно», «Казаков мудак» и т.д. – становится как-то дико, безвыходно, и чувствуешь острую потребность вырваться, думаешь, неужели

* Наровчатов С.С. (1919 – 1981), русский советский поэт.

так всю жизнь, неужели это уже ВСЁ? Неужели и ты уже весь в этом, и это у тебя всё, это ты.

<...>

И надо мной последние годы довлеет главным образом голос вещей... С каких-то пор существование превратилось в цепь непрерывных утрат – в себе и в мире.

<...>

Предвосхищение жизни – т.е. еще не пережил того, что ожидаешь, а переживаешь это как бы заранее, заранее наслаждаясь тем, что будет, потому что АКТИВНО доверяешь ей, все ждешь и ждешь. Это состояние и есть счастье, разумеется, почти такое же, как покой и воля. Я просто сжалась вчера, подумав – «а что ж это, неужели это утрачено мною?» Прислушалась к себе – нет, кажется, не совсем. Но уже немного этого, и необходимость вырваться – налицо. Куда же? Да в себя вырваться, Муська, к своей душе, которой всё еще предвосхищает – и у тебя тоже, это несомненно. Но нужно для этого, чтобы душа росла. <...>

Знаешь, недавно я сидела на партсобрании «Электросилы», глядела на своих будущих героев, думала о «Заставе», как о книге, поднимающей большие пласти жизни и вдруг физически задрожала от страха: мне вдруг стало совершенно ясно, что я не подниму этого; несмотря на весь огромный опыт последних лет, у меня неоткуда и нечего черпать из себя, я мало знаю, я ничего не знаю о жизни – и этого уже не поправишь, не наполнишься *мудростью* – одного опыта ничтожно мало. Я поняла, что что-то упустила, я, после тюрьмы и особенно по сравнению с тюрьмой – страшно мало читала, все тянула, тянула из себя, там еще много, но не того, что необходимо – *мудрости*, отобранной, переваренной в себе, *мудрости других, мудрости жизни*. Того раствора, в котором должен жить личный опыт – ничтожно мало, то, что было, уже впиталось в написанное, задуманное. А какая же работа без этого раствора? Еще, конечно, есть время, чтоб что-нибудь хотя бы наверстать, но надо торопиться валить в свою печь топливо, а то она вот-вот потухнет, остынет.

Очень взволновало меня твоё сообщение о Сереже. Мусинька, должна признаться тебе, что кроме Кольки он — единственный мужик, желанный мне. Больше того — иногда так тоскую о нем, точно нет никого дороже, тоскую нежно, остро, телом и духом. Одно желание бывает — смотреть на него, целовать его синие глазенки, ласкать его, слушать его глупости о «ниспреврежении современных поэтов» — именно *глупости* его слушать, произносимые столь убежденно. Как он мало смыслит в жизни, несмотря на то, что был на страшной войне*, как он «отвлечён и жесток», самопогружен, чист и нетронут, и вот именно это, РАЗДЕЛЯЮЩЕЕ меня с ним, в то же время и влечет меня к нему. Ах, как я иногда о нем тоскую, как жажду (тоже иногда), чтоб был влюблен страстно, глупо, ревниво. Я знаю, что он щенок, несравним с Колькой, знаю, что между нами пропасть целого поколения, я не влюблена в него, но иногда, иногда — влюблена до самой настоящей любовной тоски. Глупо, я знаю — можешь даже смеяться, мне самой смешно. Видишь, он даже не поторопился ответить мне на письмо — оно было нейтральное, чуть-чуть лирики в конце, он не влюблен в меня, не любит меня — так, тепленькое расположение, мальчишеская снисходительность, быть может, которая меня умиляет, а не задевает. Но ты все-таки не обрывай с ним ниточки, я прошу тебя об этом, пока он нужен мне. И — чур-чура — не обольщай. Если он придет — тактично найди для меня хорошее словечко — для мужика, понимаешь. Но не педалируй, чтоб не создалось впечатления, что я через тебя наваливаюсь на него. А вообще — не обрывай ниточки, слышишь. Знаешь, у меня к нему и материнского очень много — вот ты написала — «побледнел и похудел», и мне так тревожно за него стало, как за маленького. Стара, наверное, становится барыня Ольга Федоровна, блажит с мальчишками. Ты обласкай его, не спорь с ним много».

* Советско-финская война 1939-40 гг.

Сергей Наровчатов отвечал ей взаимностью, но не такой, о какой она мечтала...

Но вернемся к Макогоненко, с которым она, невзирая на семейные перипетии, была счастлива.

Дневник 3 / VI – 42 года:

«Но вчера был удивительный вечер. Юрка купил по дороге большой пучок березовых веток. Мы принесли их, поставили в комнате, а окно было открыто настежь, видно было тихое, могучее небо, прохладный ветер веял в окно, в городе было очень тихо – и так пахло березой, так пахло, что вся жизнь, самые счастливые дни ее ожила во мне и – в чувстве – шли через душу счастливо, страстно-ликующе».

25 / VII – 42

Берггольц сообщает, что Макогоненко уволили из радиокомитета и разбронировали по военному учету «потому, что по его отделу, по радио была дана поэма Шишовой. Горком запретил её и сказал об этом Широкову, преду РК<Радиокомитета – авт.>, а Широков забыл сказать об этом Юрке, и когда горком осатанел – «как так ослушались и дали» – Широков свалил все на Юрку. И его уволили.

Виктор и Яшка вели себя при этом, как последние бляди, особенно Виктор. Вот цена зимы, проведенной ими всеми вместе! Вот «новое» в отношениях ленинградцев... О, сволочи, сволочи. Яшка теперь что-то «выправляет» – но боюсь, что ничто не поможет».

«10 / IV – 44

Роддом им. Видемате

Пишу из больницы, где нахожусь последние часы, в З ч.<аса> придет за мной Юрка, и поедем домой. Ох, как это хорошо – домой. Устала я здесь от всего и, боюсь, уже окончательно устала. Чего мне стоило не рыдать после скоблежки,

но тут стояли вокруг меня «поклонники таланта», и ведь я — «мужественная женщина». Я все это приняла во внимание, и от этого мне стало еще горше и обидней: зачем, зачем я все время, почти всю жизнь держу себя в таких тисках, непреодолимых уже естественно? То Колю было жалко, не жаловалась ему ни на что, теперь Юрку, то «поклонников» стыдно, то просто не выскажаться — и вот только наедине с самой собой, вспомнив все это, извиваешься физически от боли и муки. Нет, я не реноме свое поддерживаю — не знаю сама, что держит, что не дает заголосить по-бабьи. Ни заголосить, ни отчаяться — и — ни возрадоваться.

Правда, в эти дни трепетно была влюблена в Юрку, ревновала его к прошлому, глупо подозревала даже, не могла признаться — не находила таких слов, как тогда, когда бывает еще ничего не сказано. Он любит меня. Мне хочется, чтоб он любил меня неистово. Я боюсь, что эти мои выкидыши оттолкнут его от меня; боюсь, что вдруг ощутит он тот холодный сумрак и связанность, что живут во мне.

Я побледнела, появились морщины, опала грудь... Да — скоро он покинет меня. Не сегодня и не завтра, но скоро. Странно, что по отношению к Николаю у меня никогда не было этой тревоги.

Пока я лежала тут — совершилось важное событие — вторжение союзников в Европу — начало второго фронта.

Пока у них дела идут неплохо. Дай им бог, дай бог. Ощущение великих событий — не покидает: может быть, мы стоим накануне страшнейших событий, может быть, близок мир. Вчера же и сегодня с рассвета была слышна наша канонада — говорят, мы двинулись на финнов. Ох, если бы поменьше нашей крови — это ведь будет не просто — раздавить этот упрямый, злой и железный народишко.

Юрка занят сейчас на записи и монтаже замечательнейшего радиофильма к трехлетию войны, так что пока его на передовые не пошлют — но ведь потом — сразу... И кроме того — 1/VII у него истекает срок брони. Ох, нет, нет уж, я больше не могу и

не хочу ничего отдавать этой мясорубке, или уж — тогда, пожалуйста, одновременно с моей жизнью. Да так это и будет, если что...

...Вчера на ночь приняла люминал (Колино многолетнее лекарство!), чтоб уснуть и не торопиться всю ночь домой — и сегодня из-за этого, наверное, какое-то подавленное, угрюмое состояние, и голова тяжелая... А каково-то было ему 8 лет подряд жить под этим глушителем! Вспомню его — буквально сердце обольется кровью.

Ах, скорей бы домой, на Троицкую, скорей бы к Юрке. Может быть все-таки поплачу у него на волосатой его груди — кроме же него все равно ничего нет — ни Иры, ни Коли, ни Майки, ни друзей желанных и любимых — никого же, никого, кроме него: только не обмани меня, не обмани. Я буду тебе верная, я еще недолго покрасуюсь и наряжусь для тебя, я утешу тебя еще чем-нибудь — увы, наверное, не ребенком все же.

Хотя профессор и врачи дают надежду и говорят, что после отдыха и лечения при соответствующем затем режиме и препаратах — он может быть — я все меньше в это верю. Нет уж, видно не судьба.

Значит, мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

Здесь я была окружена небывалым вниманием и почетом со стороны медперсонала и восторженностью больных бабенок — все читатели... В самом деле — у меня слава! Это — льстит, но больше смущает и досаждает. Тяжело все время быть как на виду, как бы на постаменте, а потому, в сущности, очень одинокой.

А горя и беды бабьего в связи с войной — невпроворот, не впролаз — ужас. По этой больнице видно, сколько воспалительных процессов, опущений матки и пр. — из-за мужских профессий, торфа, оборонных работ, недоедания, голода. Нехорошо.

Сын человеческий, сын человеческий, что ты сделал со своей женщины — со своей матерью, любовью, женой и сестрой? Что ты сделал с лучшим украшением и милейшей радостью мира — женским телом, женской силой? Не будет тебе ни прощенья, ни радости за все это. Что сделал — то и получишь.

Ох, тяжкий мир. —

Ночь темна

Боль страшна...»

В 1946-ом году в Ленинград стали возвращаться эвакуированные любовницы Макогоненко. Берггольц называла их «призраками». В дневнике появляются лишенные былой безмятежности записи.

«7/III — 47

...мне непонятно: зло или добро Юра для моей работы? И также отчетливо, как я знаю, что без него не было ни меня (физически) ни, скажем, «Ленинградской поэмы», которая именно и принесла мне народное признание, так же отчетливо я знаю, что всей рационалистической слабостью «Ленинградской поэмы» я обязана Юре...

У меня ничего нет кроме него. Нет более *надежного человека*, чем он. Нет иной, кровной *связи* со всей прошлой жизнью, чем он... Не мама же?

Нет *любовника*, более желанного, более ревнуемого, чем он. Как иногда, лежа рядом с ним, я мечтаю о нем, чтоб взял. КАК мечтаю, как рисую самые дикие и упоительные картины — с ним, в то время, как он лежит рядом, и я не смею его разбудить и сказать...

<...> Утром он подает мне кофе в постель, *ужасно* искренне огорчается, если яйца переварятся, если кофе жидок...

Если мы идем куда-нибудь, он говорит: «ты одела не те чулки...», «ты покрасила губы не той помадой». Он хочет, чтоб мне было хорошо, и чтоб я была красива. Он хочет — почти одного

этого. Господи, Господи, это ли не последняя не воля?! Это ли не последний предел счастья? Чего же больше в этом – счастья или неволи? Я думаю иногда: «Неволя? Пусть! Я рада. Мне уютно в ней, тепло, и она – единственное место мое в холодном мире, цель которого одна: убить меня возможно позорнее». А его цель – любить и нежить меня. Но это – неволя. Кто и что я без него? Старая женщина. Пьющая женщина, смешная своими порывами. Кто и что я ПРИ нем? СМЕШНАЯ старая женщина и т.д.

Он молод и красив, он нравится женщинам, любая из них даст ему с восторгом, «пойдет за него», и будет обмирать от счастья, если он подаст ей кофе в постель.

Любая.

Иногда мне кажется, что их так много, что мне не стоит и обороняться. Доймут. Отнимут. Мне надо торопиться, пока он не бросил; греться и наслаждаться его вниманием; мне надо торопиться наслаждаться неволей. Но чего ж я хочу? Чего? Может быть, я сама – тиран?»

Из недатированного письма сестре:

«...Я работаю много, не пью совсем, «две струи» в цикле борются, как Самсон со львом, или Давид с Голиафом. Очень мне трудно. С Юркой – ничего, конечно, он вечно занят, или в бегах. «Бегаем-бегаем мимо друг друга... так поговорить хочется, а все бегаем», – как сказано в одной хорошей пьесе «У нас на земле». Целую, дружок мой.

Твоя Гнуська».

Отношения с Макогоненко неуклонно ухудшались, и со временем вошли в неразрешимо-непримиримую фазу.

В любовной лирике поэтессы появляются тревожные, обреченные интонации.

В стихотворении «Я тайно и горько ревную...»* (47 года), обращенном к Макогоненко, есть такие строки:

* Ольга даже вела донжуанский список мужа. Например такой: очередная Юркина дама Рагозина, жена оператора Ксенофонта. [Ольга] Раппопорт, быв-

За мною такие утраты
и столько любимых могил.
Пред ними я так виновата,
что если б ты знал — не простили.
Я стала так редко смеяться,
так злобно порою шутить,
что люди со мною боятся
о счастье своем говорить.
Недаром во время беседы,
смолкая, глаза отвожу,
как будто по тайному следу
далеко одна ухожу.
Туда, где ни мрака, ни света —
сырая рассветная дрожь...
И ты окликаешь: — Ну, где ты? —
О, знал бы, откуда зовешь?

Еще ты не знаешь, что будут
такие минуты, когда
тебе не откликнусь оттуда,
назад не вернусь никогда.

«Сырая рассветная дрожь» — что это? Вероятно, адресат стихотворения понимал ее — как безумие.

Дневник (начала 50-х годов):

«И опять я все знаю и понимаю, и опять делаю все не так, точно дразня гибель. Она — вот-вот. Я уже окружена ею. Уже человек, которого я считала единственной своей опорой на земле, сговаривается с районным психиатром, чтобы насильно запрятать меня в сумасшедший дом, уже он мечтает о том, чтобы выбросить меня из дома. Вчерашняя ночь не обманывает меня. Он уже не любит меня и боится меня: «запах судьбы» вокруг меня стал

страшным, — это запах крови, запах темницы... За каждым жестом моим следят, в каждое слово вслушиваются, точно я преступник какой-то, точно сердце мое не открыто настежь — решительно перед всеми, и домашними, и далекими...

Боже мой! Я швыряю его — сердце — им, кусками, живыми трепещущими, а они готовят мне сумасшедший дом и узилище, — за что, за что? Ведь мне нужно только человеческое отношение — и ничего больше... Я одна, я совсем одна...

(...)

Эй, встань, и загорись, и жги...*

Неужели весь этот дикий душевный кризис кончится жизнью?!»

Нельзя сказать, чтобы Макогоненко был равнодушен к своей жене во время ее лечений.

Так, например, когда поэтесса лежала в <июле> 1952 г. в З-ем отделении Московской нервно-психиатрической клиники, Макогоненко послал ей телеграмму:

Горюю вместе с тобой происшедшем Будь твердой и мужественной исполненной решимости я с тобой нежно обнимаю Юра.

Со временем, однако, даже такие элементарные знаки внимания исчезли.

Из письма сестре <50-е гг.> из больницы:

<о Макогоненко>

«...видимо, он и звонить-то не будет...

И я не буду и не напишу ничего... Пусть почувствует — что вот, сгинула, добился, чего хотел».

Дневник <сентябрь 1956 г.>

Вновь Свердловка — на этот раз с тяжелым переломом ноги, совершенным в дни пароксизма тоски, глотания амитала, когда Юрка уходил из дома и не являлся по три ночи подряд...

<...> ...вел он себя как самая лицемерная и жестокая скотина.

* Из стихотворения А. Блока «Я ухо приложил...» (1907 г.)

Нет, мне надо бежать от него. Именно бежать, оборвав все, так нельзя больше жить, особенно в то время, когда душа больше совершенно не выносит лжи.

Я хочу быть счастливой и любимой. И свободной. И спокойной.

16 / X - 57 ночью

И вот — я дома... Господи, ну что же это все-таки? Дружок мой, дружок мой — что же ты сердцем отчуждился от меня? Неужели ты так навсегда, так грубо, так... так насмерть забыл меня, что не смог даже на минутку обнять — ну просто так обнять, как родного человека, нужного, вернувшегося из очень трудной дали! Разве же я предала тебя хоть на минуту, когда-нибудь, кому-нибудь, где-нибудь?!...

17 / X - 57

Все-таки как же тебе не стыдно?! Разве я виновата, что чуть не заплакала? И говорить так — «у тебя удивительно отработанная реакция — слезы!» Мне надо заново начать жить, одной, без мужа — рядом с ним я терзаюсь, мне больно, меня душит оскорбительная твоя ожесточенность, нарочитая, хамская. Подчеркнутая равнодушность, а ты... Эх ты, гуманист-просветитель!!

<1958>

...уже больше года, как мы не спали вместе. Он оскорбляет меня, как женщину, страшнейшим оскорблением — полным пренебрежением, и тем, что не скрывает от меня, что живет с другой, и еще чего-то требует от меня, еще «ухаживает», дарит цветы и т.д. Хам.

Развод Макогоненко и Бергольц был оформлен в 1962 г.

Поэт Михаил Светлов так утешал Ольгу Бергольц после ухода третьего мужа: «Оля, да это змея сбежала с постамента Медному Всаднику!»

Подытожим главу.

Главная заслуга Макогоненко перед Русской Литературой заключается не в его литературоведческих трудах, а в том, что

он не дал Берггольц в отчаянии покончить с собой в блокадном Ленинграде и создал условия для сочинения ею бессмертного «Февральского дневника».

Скажем ему за это спасибо.

Берггольц была неверна всем своим трем мужьям, и все они знали об этом. Не отсюда ли название ее послевоенной трагедии — «Верность»? Она слишком поздно осознала значение верности для семейного счастья.

Врачи мне не помогут...

Мы расскажем о самом печальном периоде в жизни поэтессы, длившемся примерно с 1952 года до конца ее дней — больше двадцати лет. Этот период ознаменовался одиночеством, пьянством, творческим бесплодием.

Почему пила Берггольц?

Может, виной тому дурной пример родителя?

Отец ее был «не дурак выпить», но у его дочери это не вызывало ничего, кроме отвращения.

Вот сценка из дневника отроковицы Ольги.

«30 мая 1924 г.

Вчера папа пришел с дядей Петей — пьяные-распьяные, едва держатся на ногах. Дядя Петя плакал, говоря, что он застрелится, что он несчастный. И жалко и противно было глядеть на них: «Эх! Скоты вы сейчас...» Больно становилось за папу, и плакать хотелось и смешно было. Папа потом уснул; дядя Петя пошел в сортир, там и уснул и спал 2 часа; потом все кругом заблевал отвратительной коричневой вонючей рвотиной.. приехал Вячеслав Комницкий, черноусый и черноглазый поляк, папин товарищ с женой; опять пили. Дядя Петя проснулся, пришел, от него воняет... Фу! Я прочитала 2 стиха и показала диаграмму. Хвалили, обещали хорошую будущность. Скучно все это! Приелись мне их похвалы, сладкие, посыпанные сахаром! Хочется нового, нового мнения,

нового человека. Потом уснули опять. Дядя Петя икал, громко, отвратительно...

Гнусно!»

А вот письмо за тот же год:

«Папе моему от Ляли.

Папа! Милый мой папа! Я горячо люблю и уважаю тебя. Ты мой милый, мой дорогой любимый папочка! Мне так хочется, так страстно хочется, чтобы образ моего папы был в моем сердце чистым и светлым, а на него падают тени. Почему, папа, почему? Я уж не маленькая, я все вижу и понимаю. Я наблюдаю и думаю гораздо больше, чем Вы думаете... И мне больно и тяжело от этого. Я желала бы не видеть всего, но как. Скажи, папа, за что такой холодный и равнодушный прием сегодня. Чем мы виноваты все??? Ты пришел навеселе, на минуту, и тотчас же ушел... Куда? Я знаю, я догадываюсь... Папа, ты не знаешь, что было после твоего ухода, как оскорбляли маму, как тяжело было всем нам. Ведь тебе они не сказали ни слова... Да? О! Как мне хочется иметь свой заработок, как я буду стремиться к этому!! Сегодня, когда мы все усталые, измученные приехали, нас встретили проклятьем и бранью... Это начало, а что будет дальше... Ты будешь уходить каждый вечер, а дома... А счетчик? Папа, папа, прости, не сердись на меня! Я пишу тебе как твоя старшая, взрослая дочка. Папа, я тебя горячо люблю, и Муся, и мама также! Зачем ты как-то от нас отчуждаешься? Папа, прости меня, милый, я может, написала лишнее, но уж я не могу терпеть. Ведь мы так любим тебя...

Маме ничего не говори, ничего, это ее так взволнует, а ей и так довольно мук.

Твоя Ляля...

1 сентября 1924 г. Ленинград

«Этот дядя Петя, и те, где ты сейчас, как я их ненавижу. Чего хорошего в водке. Папочка, прости меня».

Прошло время, Ольга повзрослела — и стала искать в спиртном иллюзорную свободу.

Дневник 10/5-41года:

«Весь день был ужаснейший кацингаммер после вчерашней внезапной пьянки — сначала в Д.^{*}оме П.^{*}исателя>, потом в «Астории» с Юркой Германом*, Р. Прокофьевым и четой Бяликов.

Брр...

Сколько раз я давала себе слово не напиваться до такого состояния — я дурнею от водки отчаянно, становлюсь омерзительной, меня тошнит — и все-таки — выпив 1-2 рюмки, дальше не могу удержаться и пью, пью, потому что люблю то состояние свободы и безответственности, которое приносит опьянение.

Опять разговоры и счеты с Германом насчет «прошлого» — все это только от вина, хотя он говорил, что нет, а в общем — мы оба отвратительные притворы, пустые люди, колуны.

Ничто меня не уверит, что я что-то значу для него. После вчерашнего же, наверняка, я вызываю в нем одно отвращение, почти то же, что и он во мне».

Первая причина пьянства: ее семейные трагедии — смерть детей и потеря мужей.

Несчастья Берггольц начались в 1933-ем году, когда ей было 1923 года, и с тех пор они не оставляли ее до последних дней жизни.

В Автобиографии читаем:

«В 1932 г. [Николай Молчанов] вернулся из армии, где служил на границе, в Средней Азии, в Мерве и Кушке, в условиях еще не до конца ликвидированного басмачества, коллективизации, бандитизма. Условия там были тяжелые. Он вернулся, когда уже дочке нашей второй, его дочке Майке

* Ю. Герман (1910 – 1967), советский писатель.

было три месяца. Ирка была вся в меня, а Майка как две капли воды похожа на него, до смешного, и была красавицей. Он приехал из Армии с тяжелой эпилепсией. <...> Весной 1933 г. газета послала его в командировку в область... И вот с той весны — и начался у меня долгий-долгий «штопор», как у самолета.

В тот день мать обварила Иришу кипящим молоком. Ожог головы, спины, ручки был страшным. Отвезла ее в больницу, подежурила около, потом меня пришла сменить мама, на которую больно было смотреть. Я побежала к младшей дочке домой, но по дороге почему-то решила зайти к родным мужа, они жили близко от меня. Захожу, а на постели бьется Николай, — приехал часа три назад, зашел к родным, и вот уже пятый припадок, — статус — эпилепсия. Отвезли его в Куйбышевскую, припадки, с небольшими перерывами, длились двое суток. Его уже в какую-то отдельную комнату вынесли, — умирать. Медикаментов, кроме валерианки, никаких. Почти чудом выпросила в аптеке НКВД хлораргидрату и несколько порошков люминалу, не отходила, тут же и спала, — только на час-полтора заскакивала домой к младшей дочке, оставленной на дуру-няньку (ей шел десятый месяц, я ее не кормила, рано пропало молоко) и к старшей в больницу.

Николай пришел домой, был очень рад, что выкарабкался, любовался на Майку и говорил: «Ольга, мы ее очень должны беречь; пока я не поправлюсь, ребят заводить страшно».

Через два дня после этого Майка заболела диспепсией, и хотя в Институте Охраны матрлада и я, и медперсонал делали все, чтоб ее спасти, — ребенок сгорел в три дня. У нас даже фото ее не осталось — не успели снять. Нашла потом ее портрет — такой, как она была в последние свои дни — на рисунке Кэте Кольвиц — «голодающие германские дети».

Привезли Иришу домой, и не успела она еще оправиться от ожогов, как заболела ангиной — суставной ревматизм — эндо-кардит — декомпенсированный порок сердца.

Выволакивала ее из гроба несколько раз, наняла ей комнату в Детском саде, где она жила с мамой и няней, и целыми периодами бывала она почти здоровым ребенком. Девочка была изумительная, рано стала читать, и читала много, трудолюбивая, общительная, фантазерка, любила рисовать и... тоже стишкими сочиняла.

Николая я уговорила бросить газету и поступить в аспирантуру. Стипендия у него и приработка были небольшие, мне много приходилось работать на заводе (была пропагандистом и писала историю завода). Писала для детей стихи и прозу, к 36 году вышло две книги стихов, книга рассказов (на казахском материале), хорошо встреченные читателями, Горьким и прессой. В 35 году у Николая опять был страшный статус, а в 36, в марте, умерла моя Ириша. Умирала тяжело, понимала, что умирает, и все просила — «дайте мне сто раз камфары, я тогда не умру и сделаю все, что вы попросите». Восемь часов умирала и восемь часов просила ее спасти».

О смерти Ирины читаем в дневнике:

«13/III -38

Я отделяюсь...

Завтра два года со дня смерти Ирины.

Разве уже два года? Разве это было не вчера? Уже зная, что она умирает (мысль работала все время невероятно отчетливо — «нитевидный пульс», думала я...), я выходила в прихожую больницы, чтобы выкурить папиросу, и тощенькая, злая сестра с мешочками под глазами, придя на дежурство, шипела (узнав, что Ира умирает) — «О, это все проклятая Советская власть довела!..» «Я благодарна советской власти...» — сказала я абсолютно деревянным голосом, покачиваясь от затяжки и предыдущей бессонной ночи с черным человеком — «моя дочь умирает, но я ни в чем не виню советскую власть... коммунизм будет построен...» или что-то в этом роде. Я говорила деревянным голосом, и как сейчас слышу его, потому что тогда точно разделилась, и почти все время, кроме тех кратких моментов,

когда бьющееся сердце заглушало все – видела и слышала себя со стороны...

Когда Ирина умерла (сотни страниц и часов нужны, чтобы описать этот момент) – я подумала: «пусть все уйдут, я останусь с ней одна». И все ушли, и я, замечая себя, встала перед ней на колени, взяла ее ручку, уже начинающую холодеть, и ничего не чувствовала, а только замечала себя. И около меня оказалась та же сестра, которая, рыдая, шептала: «дорогая моя, я боюсь за вас, я ничем не могу вам помочь, ну, что вам сказать, плачьте». «Сестрица, не бойтесь», – сказала я очень вежливо, – «я сию минуту...» И как в 30 году, на Мамиссонском перевале, молодая, любимая и влюбленная, я ничего не чувствовала, глядя на горы (а была до пресыщения счастлива), так в эту минуту, которую помню сейчас до того, что где лежало, я не чувствовала горя...

Я потеряла больше, чем Иру... Иру!..

Жизнь по капле уходит из меня при каждом живом воспоминании о ней, сокращаясь, как шагреневая кожа. <...>

Как удалялся Иринин катафалк! Его хотелось схватить руками...».

Сохранилось фото Иры Корниловой-Берггольц в гробу – правая ручка девочки касалась шеи – не отсюда ли этот жест матери-Берггольц на фото (картинах) 50-70-х годов?

Берггольц хранила рисунки дочери, альбомы (последний рисунок сделан за несколько дней до смерти) и, вероятно, собиралась сочинить поэму о ней. Главной героиней поэмы выступала сама дочь. Об этом свидетельствуют карандашные записи Ольги начала 1937 года. «Названия: Поэма о девочке Рине, Иринина поэма. Эпиграф: Мне жаль Лялю: она мало видела и слышала Рину. В этом черновике есть такие записи: Много прекрасного счастья в Рине и от Рины прошли мимо ее!.. Есть и зерна – наброски поэмы, к примеру: Радуга над Сиверской. (Мы с Риной любовались и говорили о ней. Собирали гербарий. Или: платье Рины из шкуры тигра. Или: любила Рина собаку, нем. овчарку)».

Вероятно, к концу 30-х годов в душе поэтессы родилось жуткое Зазеркалье – безумное, засасывающее.

В нем – образы мертвых (мужа и дочерей), неотступно тяготящих сознание, исчезновение надежды на личное бессмертие и вытекающая отсюда бессмысленность жизни. И это зазеркалье не исчезало от ее криков: не может быть, чтоб жили мы напрасно! Оно же требовало и неотступной дани: для того, чтобы не сойти с ума, необходимо было пить, пить, пить.

Это первая причина алкоголизма Берггольц.

Причина вторая – невозможность публиковать то, что она писала – свои дневники в первую очередь.

В Автобиографии читаем:

«И вот, когда надо приступать собственно к изложению «истории болезни», мне вдруг кажется, что и болезни не было или уже нет, а вернее – нет и не было для нее достаточных причин. И писать мне об этом скучно.

Впрочем, кажется, были. <...> Вино я пила и до войны, и во время войны – эпизодически, в компании. Средством утешения и забвения оно для меня не было, как писала выше, в труднейшие минуты жизни – смерть детей, исключение из партии, послетюремная депрессия, смерть мужа – Николая – не обращалась к вину, хотя чисто теоретически знала, что оно приносит облегчение. Я не делала это по осознанному чувству немасштабности переживания с мерой его смягчения. Скорбь о муже и детях я и не хотела ни смягчать, ни предавать забвению. В других случаях, так сказать, обуревала гордыня. А вернее всего сил еще было много, и до знаменитого бублика, съев который после двух калачей чувствуешь себя сытым по горло – было еще далеко.

Но дело не в вине. Дело в жизни, о ней и буду продолжать писать. В 1946-м году у нас был уже уютный, красиво и хорошо обставленный дом, хлебосольный, любимый друзьями, все более совершенствующийся, требующий все большего внимания хозяйки. Мы оба с любовью им занимались.<...> Но уже с на-

чала 46 года призраки (любовницы Макогоненко — авт.) стали возвращаться. <...>

Затем, в августе 1946 г., известное постановление ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Я, как и все писатели, не была к нему подготовлена, — надо было многое продумать, понять, а сначала оно меня ошеломило. Анну Ахматову я знала с 18 лет, дружила с ней, любила ее и ее стихи, и все об этом знали, и хотя я никак не упоминалась в постановлении, и хотя мое творчество прямо противоположно ахматовскому, вокруг меня в Лен. Отд. Союза Писателей начали некоторые братья-писатели и критики поднимать свистопляску. Среди них были и те, которые исключили меня из партии в 1937 году. За 9 истекших с того времени лет имена их не стали широко известны советскому читателю, а мое, к их прискорбию, стало. И вот, вне всякой связи с постановлением, появился в одной ленинградской газете огромный подвал, где в разнуданно-хамских тонах опорочивались все мои блокадные стихи, в особенности поэма «Твой путь». Писалось текстуально следующее: «В этом произведении рассказывается о том, как некая женщина, потеряв горячо любимого мужа, тотчас же благополучно выходит за другого. Эта пошлая история не имеет ничего общего с героической обороной Ленинграда».

Потом, так как я не «разоблачила» Ахматову, меня отовсюду повыгнали — из Правления, из редсовета издательства, выступление мое на решающем собрании, — ленинградская печать признала неправильным, «несамокритичным» и т. п., мою книгу «Избранное», включенную в «Золотую серию» к 30-летию Октябрьской революции, ленинградский союз с восторгом вычеркнул из списка. И открылись во мне раны 1937-1939 гг... И вот, вкупе с общими другими ощущениями — это был тот самый бублик. <...> Правда, через некоторое время московский секретариат Союза Писателей, в частности лично А. А. Фадеев, Всев. Вишневский и вообще весь секретариат — исправили ленинградские перегибы: статья о моих стихах была квалифицирована как

хулиганская, сборник «Избранное» Москва включила в свой план, книга редактировалась в Москве и была издана в «Золотой серии». <...> Сразу после постановления я взялась, с помощью Юры, за большую работу. Мы написали пьесу на послевоенную острую тему, честную, правда, не лишенную драматургических недостатков. На Всесоюзном закрытом конкурсе она получила вторую всесоюзную премию. В конце 1947 г. состоялась премьера в Большом драматическом в Ленинграде. Премьера, на которой было все начальство города, прошла с шумным успехом, зрители были все довольны, — через несколько дней в Лен. газетах появились статьи, где в пух и прах с чисто шулерническими передержками разносили пьесу, обвиняли нас в «клевете на рабочий класс» и т. д. и т. д. Как мы выяснили, господину Попкову, бывшему на премьере, не понравилось, что у одной из наших героинь, работницы-стахановки, была личная драма. Этого недовольства оказалось достаточно, чтобы снять спектакль и начать травлю. Даже лен. отделение Союза Писателей на специальном собрании, посвященном осуждению пьесы и статей, с единодушным возмущением осудило появившиеся статьи. Об этом, разумеется, нигде напечатано не было.

К концу 1948 года я закончила трагедию в стихах, пять актов с прологом о Севастополе. Покойный А. Я. Таиров^{*} и Алиса Коонен^{**} заявили, что такой трагедии они ждали много лет, что это будет их «лебединая песня». Театр принял трагедию, увлекся ею. Н. П. Охлопков^{***} прочел и стал уговаривать меня отдать эту вещь «только ему». Главрепертурком^{****} запретил трагедию «за мрачность» и «искажение действительности». Комитет по делам искусства заявил, что не согласен с запрещением, но просил

* Таиров (Корнблит) А.Я. (1885 – 1950), советский режиссер.

** Коонен А.Г. (1889 – 1974), советская актриса.

*** Охлопков Н.П. (1900 – 1967), советский режиссер, лауреат Сталинской премии.

**** Главрепертурком – Главное управление по контролю за репертуаром при Комитете по делам искусств при СНК СССР (1923 – 1952).

меня «сделать трагедию повеселее». Я ответила, что с созданием такого новаторского жанра, как «веселая трагедия», заведомо не справлюсь, и положила ее в стол. Она «отлежалась», я вижу теперь ее многие действительные недостатки, я ее все же дорабочаю, превратив в драматическую поэму. Она написана в результате нашей поездки в только что освобожденный Севастополь в 1944 г., ее тема — «великое доверие народа к Советской власти в период отчаянного положения», то, о чем говорил Сталин в известном своем тосте.

В начале 1949 г. я взялась за поэму «Первороссийск», задуманную и начатую еще до войны. Юра в это время выпускал свою книгу о Радищеве, она выходила в Москве. <...> Он нанял дачу, далеко от Ленинграда, на Карельском, утащил меня туда, мы жили там весь сентябрь. <...>

Там, в 1949, на даче я все же начала писать «Первороссийск», вцепившись в него как в спасательный круг. Писала запоем, меньше чем за год написала 2000 строк, не считая множества вариантов, вложила в поэму все, во что свято верила и верю, что люблю бесконечно, чем жила и живу. С июля 1950 г. началось прохождение поэмы по редакциям и ответственным инстанциям; дельные советы, необходимые по совести переработки и доработки перемежались изнурительным отстаиванием того, в чем автор был убежден и не хотел портить... Отняло это у меня столько нервов, что не сосчитать. Все это время я ощущала уже потребность — в определенном допинге. Последний, 1951 год, несмотря на читательский большой успех «Первороссийска», а затем получение Сталинской премии, был в отношении «допинга» самым тяжелым. <...>

Может быть, все это вышло по формуле Достоевского — «страданье есть — виновных нет».

В 1951 г. я очень много работала по сбору и подготовке, осмыслению новой большой поэмы (не считая новых больших очерков, опубликованных в «Литгазете»), и эта поэма требовала и требует осмыслиния всей жизни и моей, и всеобщей

— осмысления до конца честного, бесстрашного, жестокого — итогового. Это процесс сложный и трудный».

Процесс действительно был сложным и трудным — и заканчивался он не так, как хотела Берггольц — свое главное она не могла явить читателю.

Теперь об Ахматовой.

Лидия Чуковская в своих записках об А. Ахматовой сообщает ее отношение к Берггольц:

«9 января 1957 г.

Оля — талантливая, умеет писать коротко. Умеет писать правду. Но увы! Великолепно умеет делиться на части и писать ложь. Поэтический дар ценила весьма, но относилась к ее стихам придирчиво, принимала их с большим отбором — и ...иногда не без иронии. К самой же Ольге Федоровне была дружески расположена, памятуя о том, что в 1946 г. Берггольц оказалась среди людей, от нее не отвернувшихся, среди тех, кто продолжал посещать ее, заботиться о ней, слушать и хранить ее стихи.

13 апреля 1957 г.

Рассказала с большим огорчением об Ольге Берггольц. Та, оказывается, погибает: пьет. К ней приставлена сиделка, чтобы она не могла убегать из дома и пить где-то с шоферами, шатаясь по кабакам, но все равно, она и дома с утра до вечера хлещет коньяк — голая, без рубахи, в халате, накинутом на голое тело.

— Бедная Оля, — сказала Анна Андреевна. — Еще одна гибель еще одного поэта».

Критик поэтессы Левин, вспоминая послевоенные (пятидесятые) годы, писал:

«Вокруг Ольги часто толпились теперь случайные люди. Они всегда были готовы разделить с ней очередное застолье. Сама по себе она их нисколько не интересовала. Им льстило ее общество, их привлекали ее остроты, — ведь потом они небрежно пересказывались в кулуарах Центрального дома литераторов: «Знаешь, старик, как здорово сказала мне Ольга Берггольц...»

Как-то в ЦДЛ я увидел ее в компании еще недавно молодых, но уже успевших сильно состариться поэтов. Усердно наполняя ее бокал, они с жадностью ловили каждое сказанное ею слово. Я попытался увести Ольгу. Сначала она просто отмахивалась, а затем раздраженно попросила оставить ее в покое:

— У меня и в Ленинграде нянек хватает.

Эту раздраженную реплику я вспомнил 29 мая 1970 года на банкете в день шестидесятилетия Ольги. Поскольку я сидел рядом, Вера Кетлинская поручила мне оберегать Ольгу от юбилейных излишеств. Эта вынужденная опека раздражала Ольгу.

— Если ты от меня не отстанешь, — в конце концов пригрозила она, — я сейчас же уеду домой.

Я испугался и отстал».

Левин мог позволить себе «отстать» — но этого не могла позволить себе мать Ольги Берггольц. Ее сердце не могло смириться с тем, что происходило с дочерью.

Читаем записки матери, адресованные Ольге [1952-57 гг.]:

1.

«Дочка, дочка. На какой высоте ты была, духовно, морально, жизненно, творчески, сколько было простоты, ясности, чуткости, искренности в душе и в жизни твоей.

Что стало? Как изменила тебя слава твоя...

Сколько стало в тебе высокомерия, спеси, несправедливости, грубости. Ты украшала свои хоромы, тратила деньги на ерундовую мелочь, а долг совести в тебе молчал. Окружила себя избранным обществом, благодаря которому и докатилась до пьянства. Это тоже дало тебе некоторую славу. Как ты ошиблась, что пренебрегла и отстранила от себя беспредельно любящих тебя мать и сестру, также и родню».

2.

«Ляля, я знаю, вы не можете разговаривать со мною. Мой голос, и как я говорю, раздражает вас, а я волнуюсь и уж не могу сказать сказать, что бы хотела. А ведь все же я мать.

Муся говорила мне: живи личной своей жизнью, а не нашей. Но я не могу, мне нечем больше жить. [...] Я люблю вас. [...] ...когда я начинаю говорить, я натыкаюсь на раздражительность, на нетерпимость. И я страдаю, т.к. уверена в своей правоте, а должна молчать. [...] ...я чувствую себя какой-то отверженной, и точно только тело мое как хлам доживает свою жизнь».

В 3-ей записке она пишет, что разгадала в Ольге писателя еще в 1936 году, в Пушкине:

«... у меня особое мнение о тебе, о том когда развернется твой талант в полную глубину и силу. Сейчас есть еще в тебе неприязнь, предубеждение ко многому не хорошее, не правильное, и это мешает тебе видеть во многом глубину жизни».

Мать, как могла, пыталась спасти дочь от пагубной привычки, и писала записки об этом не только дочери, но и самой себе, например, такую, от 17-18/IX - 52 г.

«Мне хочется сделать прямо противоположное «здравому смыслу» — кажется, только потому, что этого хочет Юрий и принялась (засула рукава) Валя Дмитриева, ибо Юрию не верю (т.е. в его любовь к Ольге), и Вале нравится Юрий, т.е. она <под> его пальцем млеет, <...> — и слово его для нее — все.

Я хочу приехать в Ленинград и удержать Ольгу *там* — добившись того, чтобы она лечилась там, реабилит^{ировала}сь там, и стихи написала — там.

План: приехать, увидеть и выяснить — так ли все, как говорит Юрий (и с пьянством и парт. делами). Если *нет* — сказать ему и ей все, что я думаю.

Потребовать от нее амбулаторного или домашнего лечения (без шума), появляясь в общ^{ественных} местах в трезвом виде, демонстрируя, что бросила пить.

Все деньги отдать *мне* — я буду вести хозяйство. Или пусть меня выносит ногами вперед, я <не>^{*} предоставлю ей

* В автографе зачеркнуто.

эту возможность, т.к. решила жизни не пожалеть на это дело (может и не такая уж большая задача — но каждый выбирает себе дорогу).

Юрий взбесится — т.к. все скажу ему: не верю тебе, зачем врешь, зачем поишь (или пьешь) — зачем вызвал (не долечили), теперь гонишь. Ольга может быть за него.

Все равно — не уйду.

Но срок? Какой же к нему может быть поставлен срок? Вот какой: если можно (после консульт.ации Шрайбера или другого врача) — санаторий.

Если завтра узнаю — что она выезжает: *Даша* — врач. Разговор начистоту (чем еще может удержать Ю.рия? Если ей это нужно в таком качестве — Москва). Санаторий. Или возвращение в Ленинград вместе».

Из письма Марии Тимофеевны Мусе, сестре Ольги
<1952-53-е годы>:

«Муся, родная, мне очень важно знать, когда ты сможешь приехать в Ленинград. Это касается Ляли. <...>

...мы поговорим на вокзале. Затем ты одна поедешь к Ляле, а я домой. Надо, чтобы ни Ляля, ни Юрий не знали, что я с тобой говорила. Ко мне у них такое отношение, что я не могу принять никаких мер. Ты не пугайся. Так в жизни у них ничего не произошло. Живут как и жили. Но Лялино состояние меня терзает. Очень часто она бывает «добра и ласкова», ты понимаешь почему».

Письмо Бергольц матери <октябрь 1952/53 годов>:

«Ты уже знаешь — я лечусь в специальной больнице, но отношение ко мне медперсонала исключительное. Мне делают разные инъекции, хвойные ванны, гипноз с внушением и т.д. Это все уже дало свои результаты. Не только нет во мне никакой тяги к вину, но появилось активное отвращение к нему. И общая нервная система значительно окрепла, так же, как и сердце. Я приеду, мамочка, новым, здоровым человеком и тебе

уже не придется огорчаться за меня. Я здесь прочла много специальных книг, много беседовала с врачами, и вся глубина той пропасти, куда я катилась, стала мне понятна. Скоро, скоро и я и все вы, мои родные и терпеливые, любящие люди будете вспоминать все это, как дурной сон. И я постараюсь всей работой и жизнью своей искупить те раны, которые я вам, и особенно тебе, наносила».

Из письма сестре <1950-е гг.>

«Мусинька!

Дела мои такие. Абстинентное состояние кончилось, ломает грипп, но кажется, сегодня немножко пошел на убыль. Лежу в палате, где семь человек, из них двое очень тяжелых; первая — припадочная истеричка, которая то воет, то бьется, то поет во все горло дурным голосом, вторая тяжелая психопатка, которая непрерывно плачет. Никаких других условий Иван Васильевич мне сейчас предоставить не может, т.к. больница сверхперезагружена и они просто сбиваются с ног...»

Медицинские документы бесстрастно свидетельствуют: состояние Бергольц стало требовать врачебного вмешательства с начала 50-х годов.

20 июня 1953 года Бергольц была направлена в институт Бехтерева на стационарное лечение с диагнозом: обострение хронической алкогольной интоксикации (фаза вспышки).

Из справки лечебного отдела Лит. Фонда СССР Союза Сов. Писателей от 25/6-53 года, подписанной Берновичем:

«Больная Бергольц Ольга страдает хроническим алкоголизмом с периодическими явлениями психомоторного возбуждения и галлюцинациями. От обследования отказывается. Говорит, что медицина ей не поможет, цинично ругается, заявляет, что ей надоели врачи и лечения. Подлежит лечению в психоневрологическом стационаре. Диагноз хронический алкоголизм».

Ее склонность к спиртному не сразу стала «келейной», о чем такое, например, письмо:

«27 сентября 1958 г.

В Союз Советских Писателей

Дирекция гостиницы «Москва» просит срочно помочь госпитализировать проживающую в гостинице в № 1039 писательнице О.Ф. Берггольц, дальнейшее пребывание которой в гостинице невозможно.

И.о. директора гостиницы Левина».

Из дневниковых записей М.П. Берновича, исследователя творчества Б.П. Корнилова за 19[65] год (ИРЛИ, ф.600, № 20).

«12/VII Был у О.Ф. Разговор о Пастернаке. Ей привели стихи Живаго. Читала. Плакала. «Мы жили рядом с гением. Стихи интересные, но такие далекие от нас и нашего времени». Я промолчал об этом, не хотел вызывать зверя. Потом я отвлек её от Пастернака. Смотрели «Библию» с рисунками Доре. А потом сидела и плакала. Ужасно!

16/VII Был у О.Ф. Опять пьяная. Несла немыслимое. Она скоро умрет!

20/VIII ...Трезвая, хорошая, умная, щедрая. [...] Просил написать статью о Корнилове. Обещала. Уверен, что не напишет.

12/IX Разговаривал с Ольгой по телефону. Трезвая, умная. Говорила о том, что очень устала, что ни грамма спиртного во время поездки. Вряд ли это так...»

Что поэтесса могла ответить хору обвиняющих голосов?

Может быть, такой записью:

«Я – пью. А они – нет?»

Она не всегда пребывала в унынии.

И в болезни Ольга Федоровна, окруженная сменяющими друг друга приживалками, не теряла чувства юмора.

Сохранился ее экспромт на одной из книжечек, предположительно за 1964 год:

Жди! Наконец придет она,
На водку старая цена.
Уйдет на пенсию Никитка
И на закуску будет скидка.

Недуг Берггольц не изменил ее личности, но лишь усилил теневую сторону ее души, ту самую, в которой ночные звезды начинали разгораться все ярче и ярче. Что она видела при их свете? Может быть, крест, под которым завещала похоронить себя?



1912 год. О. Берггольц с родителями



1925 г.



Май 1941 года



1943 г.



Ольга Берггольц в кругу университетских товарищей, 1929 г.



Ольга Бергольц с
Н. Молчановым.
1931 г., Алма-Ата.



На Ленинградском
фронт



С Михаилом
Светловым



С Анной
Ахматовой

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Поздней осенью 75-го года Бергольц лежала в клинике Ленинградской Военно-Медицинской Академии.

«7 ноября 1975 года я пришел к ней в клинику, — вспоминал Хренков. — Был вечер. Часы, отведенные для посещения больных, давно миновали. Клиника была пустынна, и только у телевизора сидела группа больных.

Ольга Федоровна осунулась, потемнела. На подушке у самого уха темнел кружок наушника. По радио повторяли праздничный репортаж с Дворцовой площади.

— Седьмого ноября сорок восьмого года умирал в больнице мой отец, слушая репортаж с Дворцовой. Я тогда «вела» два района — Московский и Невскую заставу... Отец прижал наушник: «Ляльку послушаю...» Может быть, и для меня этот праздник последний, — вдруг сказала Ольга Федоровна.

Я пытался развеять ее мрачное настроение.

Прошло несколько дней.

Тринадцатого ноября вечером я позвонил профессору Ткаченко.

— У Ольги Федоровны плохи дела. Очень плохи.

— Нужно приезжать?

— Нет, приезжать не нужно. Мы перевели ее в палату реанимации.

— Что случилось?

— Я позвоню.

Еще через час Ткаченко позвонил мне:

— Ольга Федоровна скончалась».

Символично — место рождения и место смерти — совпали.

ЭПИЛОГ

«... Не спрашивай никогда по ком звучит колокол: он звонит по Тебе»

Джон Донн

Эту книгу уместно закончить двумя выписками. Первая – из саракинского жизнеописания Солженицына.

«Путь Солженицына с Дальнего Востока пролегал через Тобольский Кремль, где в часовенке-одиночке триста лет томился большой колокол Углича, главный свидетель кровавого преступления XVII века и соучастник беспорядков, лишенный в наказание и языка, и уха. Отбыв срок, узник был амнистирован и возвращен домой. В храме Дмитрия-на-крови и увидел Солженицын почетного ветерана опаснейшего колокольного занятия: «Бронза его потускла до выстраданной серизны. Било его свисает неподвижно». Писателю предложили – и он ударил, единожды».

Вторая – из «Дневных Звезд» Берггольц, из главы «Корноухий колокол», посвященной угличскому ссыльному:

«И я стала под колокол и с силой дернула за веревку. И он запел и загудел над моей головой...»

Угличский колокол – символ писательского ремесла на Руси. В этот колокол била Берггольц, бил Солженицын...

Кто следующий?

Кто бы он ни был, обо всех сказала Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто...».

19 октября 2009 года,

Апостола Фомы.

ЛИТЕРАТУРА

- Берггольц О.Ф. ...Глубинка. М., 1932.
- Берггольц О.Ф. ...Горная жвачка. М.-Л., 1932.
- Берггольц О.Ф. Углич. М.-Л., 1932.
- Берггольц О.Ф. и др. Годы штурма. Л., 1933.
- Берггольц О.Ф. ...Стихотворения. Л., 1934.
- Берггольц О.Ф. ...Ночь в Новом мире. Л., 1935.
- Берггольц О.Ф. ...Книга Песен. Л., 1936.
- Берггольц О.Ф. Ленинградская поэма. Л., 1942.
- Берггольц О.Ф. Ленинградская тетрадь. М., 1942.
- Берггольц О.Ф. Ленинград. М., 1944.
- Берггольц О.Ф. Ленинградский дневник. Л., 1944.
- Берггольц О.Ф. Твой путь. Л., 1945.
- Берггольц О.Ф. Первороссийск. М., 1952.
- Берггольц О.Ф. Узел. М.-Л., 1965.
- Берггольц О.Ф. Дневные звезды. М., 1975.
- Берггольц О.Ф. Собрание сочинений в 3-х томах. Л., 1988.
- Вспоминая Ольгу Берггольц. Л, 1979.
- Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома (2005 – 2006). СПб., 2009.
- Фадеев А.А. За тридцать лет. М., 1959.
- Хренков Д.Т. От сердца к сердцу. Л., 1982.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЛОГ	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Поэтесса	7
Каменный Ангел	7
Рабкор	19
Февральский дневник	39
Дневные звезды	60
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Коммунистка	72
Ленинские искры	72
Враг народа	86
Сталинская премия	104
Служу советскому искусству	122
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Любовь	139
Песня о встречном (Борис Корнилов)	139
Казак удалой (Николай Молчанов)	151
Профессор (Георгий Макогоненко)	171
Врачи мне не помогут	186
ПОСЛЕСЛОВИЕ	203
ЭПИЛОГ	204
ЛИТЕРАТУРА	205

Улыбин Вячеслав

И лжи заржавеет печать...
Двойные звезды Ольги Бергольц

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*
Дизайн обложки *И. Н. Граве*
Оригинал-макет *Н. Н. Орловская*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетея»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
E-mail: office@aletheia.spb.ru (отдел реализации),
aletheia@peterstar.ru (редакция)
www.aletheia.spb.ru

Фирменные магазины «Историческая книга»:
Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495)
921-48-95
Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.
Тел. (812) 327-26-37

*Книги издательства «Алетея» в Москве
можно приобрести в следующих магазинах:*
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Гилея», Нахимовский пр., д. 56/26. Тел. (495) 332-47-28
Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
Магазин издательства «Совпадение».
Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84

Подписано в печать 15.03.2010. Формат 84x108¹/32.
Усл. печ. л. 6,5. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.
Заказ № 1189

Отпечатано в ООО «Типография «Береста»
196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28
Тел./факс: (812) 388-9000
e-mail: beresta@mail.wplus.net

